

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

КАМЕРА  
ОБСКУРА

Владимир Набоков. Камера обскура  
TEX-верстка: Е.М. Варфоломеев, <http://www.varf.ru>

## I

Приблизительно в 1925 г. размножилось по всему свету милое, забавное существо — существо теперь уже почти забытое, но в свое время, т. е. в течение трех-четырех лет, бывшее вездесущим, от Аляски до Патагонии, от Маньчжурии до Новой Зеландии, от Лапландии до Мыса Доброй Надежды, словом, всюду, куда проникают цветные открытки, — существо, носившее симпатичное имя Шееру.

Рассказывают, что его (или, вернее, ее) происхождение связано с вопросом о вивисекции. Художник Роберт Горн, проживавший в Нью-Йорке, однажды завтракал со случайным знакомым — молодым физиологом. Разговор коснулся опытов над живыми зверьми. Физиолог, человек впечатлительный, еще не привыкший к лабораторным кошмарам, выразил мысль, что наука не только допускает изощренную жестокость к тем самым животным, которые в иное время возбуждают в человеке умиление своей пухлостью, теплотой, ужимками, но еще входит как бы в азарт — распинает живьем и кромсает куда больше особей, чем в действительности ей необходимо. “Знаете что, — сказал он Горну, — вот вы так славно рисуете всякие занятные штучки для журналов; возьмите-ка и пустите, так сказать, на волны моды какого-нибудь многострадального маленького зверя, например, морскую свинку. Придумайте к этим картинкам шуточные надписи, где бы этак вскользь, легко упоминалось о трагической связи между свинкой и лабораторией. Удалось бы, я думаю, не только создать очень своеобразный и забавный тип, но и окружить свинку некоторым ореолом модной ласки, что и обратило бы общее внимание на несчастную долю этой, в сущности, милейшей твари”. “Не знаю, — ответил Горн, — они мне напоминают крыс. Бог с ними. Пускай пищат под скальпелем”. Но как-то раз, спустя месяц после этой беседы, Горн в поисках темы для серии картинок, которую просило у него издательство иллюстрированного журнала, вспомнил совет чувствительного физиолога — и в тот же вечер легко и быстро родилась первая морская свинка Чипи. Публику сразу привлекло, мало что привлекло — очаровало, хитренькое выражение этих блестящих бисерных глаз, круглота форм, толстый задок и гладкое темя, манера сусликом стоять на задних лапках, прекрасный крап, черный, кофейный и золотой,

а главное — неуловимое прелестное — смешное нечто, фантастическая, но весьма определенная жизненность, — ибо Горну посчастливилось найти ту карикатурную линию в облике данного животного, которая, являя и подчеркивая все самое забавное в нем, вместе с тем как-то приближает его к образу человеческому. Вот и началось: Чипи, держащая в лапках череп грызуна (с этикеткой: *Cavia sobaja*) и восклицающая “Бедный Йорик!”; Чипи на лабораторном столе, лежащая брюшком вверх и пытающаяся делать модную гимнастику, — ноги за голову (можно себе представить, сколь многого достигли ее короткие задние лапки); Чипи стоя, беспечно обстригающая себе коготки подозрительно тонкими ножницами, — причем вокруг валяются: ланцет, вата, иголки, какая-то тесьма... Очень скоро, однако, нарочитые операционные намеки совершенно отпали, и Чипи начала появляться в другой обстановке и в самых неожиданных положениях — откалывала чарльстон, загорала до полного меланизма на солнце и т. д. Горн живо стал богатеть, зарабатывая на репродукциях, на цветных открытках, на фильмовых рисунках, а также на изображениях Чипи в трех измерениях, ибо немедленно появился спрос на плюшевые, тряпичные, деревянные, глиняные подобию Чипи. Через год весь мир был в нее влюблен. Физиолог не раз в обществе рассказывал, что это он дал Горну идею морской свинки, но ему никто не верил, и он перестал об этом говорить.

Буквально: пискля (англ.).

В начале 1928 года в Берлине знатоку живописи Бруно Кречмару, человеку, очень, кажется, сведущему, но отнюдь не блестящему, пришлось быть экспертом в пустячном, прямо даже глупом деле. Модный художник Кок написал портрет киноартистки Дорианны Карениной. Фирма личных кремов приобретала у нее право помещать на плакатах репродукцию с портрета в виде рекламы своей губной помады. На портрете Дорианна держала прижатой к голому своему плечу большую плюшевую Чипи. Горн из Нью-Йорка тотчас предъявил фирме иск.

Всем прикосновенным к этому делу было в конце концов важно только одно — побольше пошуметь: о картине и об актрисе писали, помаду покупали, а Чипи, уже теперь тоже — увы! — нуждавшаяся в рекламе, дабы оживить хладевшую любовь, появилась на новом рисунке Горна со скромно опущенными глазами, с цветком в лапке и с лаконичной надписью “*Noli me tangere*”. “Он, видимо, любит своего зверя, этот Горн”, — заметил однажды Кречмар, обращаясь к своему шурину Макс, добрейшему, тучному человеку с угреватými складками кожи сзади над воротником. “Ты что, его лично знаешь?” — спросил Макс. “Нет, конечно, нет, откуда же мне его знать? Он живет постоянно в Америке. А дело он выигрывает, если доказать, что взоры смотрящих на рекламу привлекаются больше

зверьком, чем дамой”. “Какое дело?” — спросила Аннелиза, жена Кречмара.

Не тронь меня (лат.).

Эта ее привычка задавать зря вопросы о предметах, не раз в ее присутствии обсуждавшихся, была следствием скорее нервности мысли, чем невнимания. Часто, задав рассеянный вопрос, Аннелиза, еще на разгоне слова, понимала уже, что давно сама знает ответ. Муж хорошо изучил эту привычку, и нисколько прежде она его не сердила, а лишь умиляла и смешила, и он, не отвечая, продолжал разговор с выжидательной улыбкой на губах, и ожидание обыкновенно оправдывалось — жена почти сразу отвечала сама на свой вопрос. Но теперь, в этот именно день, в этот мартовский день, Кречмар, трепещущий от странных, тайных переживаний, вот уже неделю мучивших его, проникся вдруг необычайным раздражением. “Что ты, с луны, что ли, свалилась?” — воскликнул он, а жена махнула рукой и сказала: “Ах да, я уже вспомнила”. “Не так быстро, мое дитя, не так быстро”, — тут же обратилась она к дочке, восьмилетней Ирме, которая пожирала свою порцию шоколадного крема. “С точки зрения юридической...” — начал Макс, пыхтя сигарой. Кречмар подумал: “Какое мне дело до этого Горна, до рассуждений Макса, до шоколадного крема... Со мной происходит нечто невероятное. Надо затормозить, надо взять себя в руки...”

Было это и впрямь невероятно — особенно невероятно потому, что Кречмар в течение девяти лет брачной жизни не изменил жене ни разу, по крайней мере действительно ни разу не изменил. “Собственно говоря, — подумал он, — следовало бы Аннелизе все сказать, или ничего не сказать, но уехать с ней на время из Берлина, или пойти к гипнотизеру, или наконец как-нибудь истребить, уничтожить...” Это была глупая мысль. Нельзя же в самом деле взять браунинг и застрелить незнакомку только потому, что она приглянулась тебе.

## II

Кречмар был несчастен в любви, несчастен и неудачлив, несмотря на привлекательную наружность, на веселость обхождения, на живой блеск синих выпуклых глаз, несмотря также на умение образно говорить (он слегка заикался, и это придавало его речи прелесть), несмотря, наконец, на унаследованные от отца земли и деньги. В студенческие годы у него была связь с пожилой дамой, тяжело обожавшей его и потом во время войны посылавшей ему на фронт носки, фуфайки и длинные, страстные, неразборчивые письма на шершаво-желтой бумаге. Затем была история с женой одного врача, которая была довольно хороша собой, томна и тонка, но страдала пренеприятной женской болезнью. Затем в Бад-Гамбурге — молодая русская дама с чудесными зубами, которая как-то вечером, в ответ на любовные увещевания, вдруг сказала: “А ведь у меня вставная челюсть, я ее на ночь вынимаю. Хотите сейчас покажу, если не верите”. “Не надо, зачем же”, — пробормотал Кречмар и на следующий день уехал. Наконец, в Берлине, была некрасивая навязчивая женщина, которая приходила к нему ночевать три раза в неделю и рассказывала подробно и длительно все свое прошлое, без конца возвращаясь к одному и тому же и скучно вздыхая в его объятиях и повторяя при этом единственное французское словцо, которое она знала: “С est la vie”. Между этими довольно неудачными, вялыми романами, и во время них, были сотни женщин, о которых он мечтал, с которыми не удавалось как-то познакомиться и которые проходили мимо, оставив на день, на два ощущение невыносимой утраты.

Он женился не то чтоб не любя жену, но как-то мало ею взволнованный: это была дочь театрального антрепренера, миловидная, бледноволосая барышня, с бесцветными глазами и прыщиками на переносице — кожа у нее была так нежна, что от малейшего прикосновения оставались на ней розовые отпечатки. Он женился потому, что как-то так вышло, — чрезвычайно пособила и поездка в горы с нею, с ее братом и с какой-то их необыкновенно атлетической теткой, сломавшей себе наконец ногу в Понтрезине. Что-то такое милое, легкое было в Аннелизе, так она хорошо смеялась,

словно тихо переливалась через край. Они повенчались в Мюнхене, дабы избежать наплыва берлинских знакомых. Цвели каштаны. Один из лакеев в гостинице умел говорить на восьми языках. У жены был нежный маленький шрам — след аппендицита.

Она была ласкова, послушна, тиха, но изредка на нее находили припадки стыдливой, нервной страстности, и тогда Кречмару казалось, что никаких других женщин ему не надобно. Вскоре она забеременела, заходила вразвалку, пристрастилась к снегу, который ела пригоршнями, быстро сгребая его с перил палисадника или со спинки скамьи, когда никто не смотрел. Он испытывал к ней мучительную безвыходную нежность, заботился о ней, — чтоб она ложилась рано, не делала резких движений, — а по ночам ему снились какие-то молоденькие полуголые венеры, и пустынный пляж, и ужасная боязнь быть застигнутым женой. По утрам Аннелиза рассматривала в зеркале свой конусообразный живот, удовлетворенно и таинственно улыбаясь. Наконец ее увезли в клинику, и Кречмар недели три жил один, терзаясь, не зная, что делать с собой, шалея от двух вещей, — от мысли, что жена может умереть, и от мысли, что, будь он не таким трусом, он нашел бы в каком-нибудь баре женщину и привел бы ее в свою пустую спальню.

Она рожала очень долго и болезненно. Кречмар ходил взад и вперед по длинному белому коридору больницы, отправлялся курить в уборную и потом опять шагал, сердясь на румяных шуршащих сестер, которые все пытались загнать его куда-то. Наконец из ее палаты вышел ассистент и угрюмо сказал одной из сестер: “Все кончено”. У Кречмара перед глазами появился мелкий черный дождь, вроде мерцания очень старых кинематографических лент. Он ринулся в палату. Оказалось, что Аннелиза благополучно разрешилась от бремени.

Девочка была сперва красненькая и сморщенная, как воздушный шарик, когда он уже выдыхается. Скоро она обтянулась, а через год начала говорить. Теперь, спустя восемь лет, она говорила гораздо меньше, ибо унаследовала приглушенный нрав матери, — и веселость у нее была тоже материнская — особая, ненавязчивая веселость, когда человек словно радуется самому себе, тихо развлекается собственным существованием.

И в продолжение всех этих лет Кречмар оставался жене верен. Он дивился своей двойственности, он чувствовал, что, поскольку может любить человека, он любит жену по-настоящему, крепко и нежно, — и во всех вещах, кроме сокровенной, бессмысленной жажды обладания какими-то молоденькими красавицами, которых все равно никогда, никогда не коснешься. Кречмар был с женой откровенен: она читала все его письма, получаемые и отправляемые, так как была по-житейски любопытна, спрашивала о подробностях

его довольно случайных дел, связанных с аукционами картин, экспертизами, выставками, — и потом задавала обычные свои вопросы, на которые сама отвечала. Были очень удачные поездки за границу, в Италию, на юг Франции, были детские болезни Ирмы, были, наконец, прекрасные, нежные вечера, когда Кречмар с женой сидел на балконе и думал о том, как незаслуженно счастлив. И вот после этих выдержанных лет, в расцвете тихой и мягкой жизни, близясь к концу своего четвертого десятка, Кречмар вдруг почувствовал, что на него надвигается то самое невероятное, сладкое, головокружительное и несколько стыдное, что подстерегало и дразнило его с отроческих лет.

Как-то в марте (за неделю до разговора о морской свинке), Кречмар, направляясь пешком в кафе, где должен был встретиться в десять часов вечера с деловым знакомым, заметил, что часы у него непостижимым образом спешат, что теперь только половина девятого. Возвращаться домой на другой конец города было, конечно, бессмысленно, сидеть же полтора часа в кафе, слушать громкую музыку и, мучась, исподтишка смотреть на чужих любовниц нимало его не прельщало. Через улицу горела красными лампочками вывеска маленького кинематографа, обливая сладким малиновым отблеском снег. Кречмар мельком взглянул на афишу (пожарный, несущий желтоволосую женщину) и взял билет. К кинематографу он вообще относился серьезно и даже сам собирался кое-что сделать в этой области — создать, например, фильму исключительно в рембрандтовских или гойевских тонах. Как только он вошел в бархатный сумрак зальца (первый сеанс подходил к концу), к нему быстро скользнул круглый свет электрического фонарика, так же плавно и быстро повел его по чуть пологой темноте. Но в ту минуту, когда фонарик направился на билет в его руке, Кречмар заметил озаренное сбоку лицо той, которая наводила свет, и, пока он за ней шел, смутно различал ее фигуру, походку, чуял шелестящий ветерок. Садясь на крайнее место в одном из средних рядов, он еще раз взглянул на нее и увидел опять, что так его поразило, — чудесный продолговатый блеск случайно освещенного глаза и очерк щеки, нежный, тающий, как на темных фонах у очень больших мастеров. Она, отступив, смешалась с темнотой, и Кречмара охватили вдруг скука и грусть. Глядеть на экран было сейчас ни к чему — все равно это было непонятное разрешение каких-то событий, которых он еще не знал (...кто-то, плечистый, слепо шел на пятившуюся женщину...). Было странно подумать, что эти непонятные персонажи и непонятные действия их станут понятными и совершенно иначе им воспринимаемыми, если он посмотрит картину с начала. Интересно знать, вдруг подумал Кречмар, смотря ли вообще капельдинерши на экран или все им осточертело?



Как только замолк рояль и в зале рассветло, он опять ее увидел: она стояла у выхода, еще касаясь складки портьеры, которую только что отдернула, и мимо нее, теснясь, проходили люди, уже насытившиеся световой простоквашей. Одну руку она держала в кармане узорного передника. На лицо ее Кречмар смотрел прямо с каким-то испугом. Прелестное, мучительно прелестное лицо. Ничего оно не выражало, кроме, быть может, утомления. Ей было с виду пятнадцать-шестнадцать лет.

Затем, когда зале почти опустело и начался прилив свежих ясноглазых людей, она несколько раз проходила совсем рядом, и вблизи она была еще милее. Он отворачивался, смотрел по сторонам, так как было слишком тягостно длить взгляд, направленный на нее, и ему вспомнилось, сколько раз красота проходила мимо него и пропадала бесследно.

С полчаса он просидел в темноте, выпуклыми глазами уставившись на экран. Она приподняла для него складку портьеры. “Взгляни!” — подумал он с некоторым отчаянием. Ему показалось, что губы у нее легонько дрогнули. Она опустила складку. Кречмар вышел и вступил в малиновую лужу — снег таял, ночь была сырая, с теплым ветром.

Через три дня он не стерпел и, чувствуя стыд, раздражение и вместе с тем какой-то смутно рокошующий восторг, отправился вновь в в “Аргус” и опять попал к концу сеанса. Все было, как в первый раз: фонарик, продолговатый луиниевский глаз, ветерок, темнота, потом очаровательное движение руки, откидывающей рывком портьеру. “Дюжинный донжуан сегодня же с ней бы познакомился”, — беспомощно подумал Кречмар. На экране, одетая в тютю, резвилась морская свинка Чипи, изображая русский балет. За этим следовала картина из японской жизни “Когда цветут вишни”. Выходя, Кречмар хотел удостовериться, узнает ли она его.

Взгляда ее он не поймал. Шел дождь, блестел красный асфальт.

Если б он не сделал того, чего раньше не делал никогда — попытки удержать мелькнувшую красоту, не сразу сдаться, чуть-чуть на судьбу принажать, — если б он второй раз не пошел в “Аргус”, то, быть может, ему удалось бы осадить себя вовремя.

Теперь же было поздно. В третье свое посещение он твердо решил улыбнуться ей, однако так забилося сердце, что он не попал в такт, промахнулся. На другой день был к обеду его шурин, говорили как раз об иске Горна, дочка с некрасивой жадностью пожирала шоколадный крем, жена ставила вопросы невпопад. “Что ты, с луны, что ли, свалилась?” — сказал он и запоздалой улыбкой попытался смягчить выказанное раздражение. После обеда он сидел с женой рядом на широком диване, мелкими поцелуями мешал

ей рассматривать “Die Dame” и глухо про себя думал: “Какая чепуха... Ведь я счастлив... Чего же мне еще? Никогда больше туда не пойду”.

### III

Ее звали Магда Петерс, и ей было вправду только шестнадцать лет. Ее родители промышляли швейцарским делом. Отец, контуженный на войне, уже седоватый, постоянно дергал головой и впадал по пустякам в ярость. Мать, еще довольно молодая, но рыхлая женщина, холодного и грубого нрава, с ладонью, всегда полной потенциальных оплеух, обычно ходила в тугом платочке, чтобы при работе не пылились волосы, но после большой уборки (производимой главным образом пылесосом, который остроумно совокуплялся с лифтом) наряжалась и отправлялась через улицу в гости. Жильцы недолюбливали ее за надменность, за деловую манеру требовать у входящего, чтобы он вытирал ноги о мат и не ступал по мрамору (которого, впрочем, было немного). Ей часто снилась по ночам сказочно великолепная, белая, как сахар, лестница и маленький силуэт человека, уже дошедшего доверху, но оставившего на каждой ступени большой черный подошвенный отпечаток, левый, правый, левый, правый... Это был мучительный сон.

Отто, Магдин брат, был старше сестры на три года, работал теперь на велосипедной фабрике, презрительно относился к бюргерскому республиканству отца и, сидя в ближайшем кабаке, рассуждал о политике, опускал с громовым стуком кулак на стол, восклицая: “Человек первым делом должен жрать, да!” Такова была главная его аксиома — сама по себе довольно правильная.

Магда в детстве ходила в школу, и там ей было легче, чем дома, где ее били много и зря, так что оборонительный подъем локтя был самым обычным ее жестом. Это, впрочем, не мешало ей расти веселой и бойкой девочкой. Когда ей было лет восемь, ее до боли ущипнул без всякой причины почтенный старик, живший в партере. О ту пору она любила участвовать в крикливой и бурной футбольной игре, которую затевали мальчишки посреди мостовой. Десяти лет она научилась ездить на велосипеде брата и, голорукая, со взлетающей черной косичкой, мчалась взад и вперед по своей улице, весело вскрикивая, а потом останавливалась, оперевшись одной ногой в край панели и о чем-то раздумывая. В двенадцать лет она немного угомонилась, и любимым ее занятием сделалось стоять у двери, шептаться с дочкой угольщика о женщинах, шлявшихся к одному из жильцов, или смотреть на прохожих, отмечать

платья и шляпы. Как-то она нашла на лестнице потрепанную сумочку, а в сумочке мыльце с приставшим волоском и полдюжины непристойных открыток. Как-то ее поцеловал в открытую шею один из гимназистов, еще недавно старавшихся сбить ее с ног во время игры. Как-то, среди ночи, с ней случилась истерика, и ее облили водой, а потом драли.

Через год она уже была чрезвычайно мила собой, носила короткое ярко-красное платьице и была без ума от кинематографа. Появился в супротивном доме молодой человек, кудрявый, в пестрой фуфайке, который по вечерам облакачивался в окне на подушку и улыбался ей издали, — но скоро он съехал.

Впоследствии она вспоминала то время жизни с томительным и странным чувством — эти светлые, теплые, мирные вечера, треск запираемых лавочек, отец сидит верхом на стуле и курит трубку, поминутно дергая головой, словно энергично отрицая что-то, мать судачит о причудах жильцов с соседней швейцарихой (“я ему тогда сказала... он мне тогда сказал...”), госпожа Брок возвращается домой с покупками в сетке, погода проходит горничная Лизбет с левреткой и двумя жесткошерстыми фоксами, похожими на игрушки... Вечереет. Вот брат с двумя-тремя товарищами, они мимоходом обступают ее, немного теснят, хватают за голые руки, у одного из них глаза, как у Файта. Улица, еще освещенная низким солнцем, затихает совсем. Только напротив двое лысых играют на балконе в карты — и слышен каждый звук.

Ей было едва четырнадцать лет, когда, подружившись с приказчицей из писчебумажной лавки на углу, Магда узнала, что у этой приказчицы есть сестра натурщица — совсем молоденькая девочка, а уже недурно зарабатывающая. У Магды появились прекрасные мечты. Каким-то образом путь от натурщицы до фильмовой дивы показался очень коротким. В то же приблизительно время она научилась танцевать и несколько раз посещала с подругой заведение “Парадиз”, бальный зал, где, под цимбалы и улюлюкание джаза, пожилые мужчины делали ей весьма откровенные предложения.

Однажды она стояла на углу своей улицы; к панели, резко затормозив, пристал несколько раз уже виденный молодой мотоциклист с зачесанными назад бледными волосами, одетый в необыкновенную кожаную куртку, и предложил ее покатать. Магда улыбнулась, села сзади верхом, поправила юбку и в следующее мгновение едва не задохнулась от быстроты. Он повез ее за город и там остановился. Был солнечный вечер, толклась мошकारа. Кругом были вереск да сосны. Мотоциклист слез и сел рядом с ней на краю дороги. Он рассказал ей, что ездил недавно, вот так как есть, в Испанию, рассказал, что прыгал несколько раз с парашютом. Затем он ее обнял, стал тискать и очень мучительно целовать, и у нее было чувство, что все внутри тает и как-то разливается. Ей

вдруг сделалось нехорошо, она побледнела и заплакала. “Можно целовать, — сказала она, — но нельзя так тормошить, у меня голова сегодня болит, я нездорова”. Мотоциклист рассердился, молча пустил машину, довез Магду до какой-то улицы и там оставил. Домой она вернулась пешком. Брат, видевший, как она уезжала, треснул ее кулаком по шее да еще пнул сапогом так, что она упала и больно стукнулась о швейную машину.

Зимой она наконец познакомилась с натурщицей, сестрой приказчицы, и с какой-то пожилой, важной на вид дамой, у которой было малиновое родимое пятно во всю щеку. Ее звали Левандовская. У этой Левандовской Магда и поселилась, в комнатке для прислуги. Родители, давно корившие ее дармоедством, были теперь довольны, что от нее освободились. Мать находила, что всякий труд, приносящий доход, честен. Брат, который, бывало, поговаривал не без угроз о капиталистах, покупающих дочерей бедняков, временно работал в Бреславле и к Левандовской нагрязнул только гораздо позже, гораздо позже...

Она позировала сперва в большой классной комнате какой-то женской школы, а потом в настоящем ателье, где рисовали ее не только женщины, но и мужчины, некоторые совсем молодые. Все было, впрочем, очень чинно. Темноголовая, стриженная, совершенно голая, она боком сидела на коврике, опираясь на выпрямленную руку — так что на месте локтя был нежный морщинистый глазок, — сидела, чуть склонив худенький стан, в позе задумчивого изнеможения, и смотрела исподлобья, как рисовальщики поднимают и опускают глаза, и слушала легкий шорох карандашной штриховки или попискивание угля, — и скоро ей становилось скучно разбирать, кто сейчас воспроизводит ляжку, а кто голову, и было одно только желание: переменить положение тела. От скуки она выискивала самого привлекательного из художников, едва заметно щурилась всякий раз, когда он, с полуоткрытым от прилежания ртом, поднимал лицо. Ей никогда не удавалось смутить его, переключить его ум на другие, менее строгие мысли, и это ее немножко сердило. Когда она прежде думала о том, как вот будет сидеть одинокая и голая под сходящимися взорами многих глаз, ей сдавалось, что будет стыдновато, но вместе с тем довольно приятно, как в теплой ванне. Оказывалось, что это вовсе не стыдно, а только утомительно и однообразно. Тогда она начала придумывать всякие штучки для своего развлечения, не снимала ожерелья с шеи, мазала губы, подводила свои и так подведенные тенью, и так очаровательные глаза, и раз даже чуть-чуть оживила кармином бледные кончики грудей. Ей за это сильно влетело от Левандовской, которой кто-то насплетничал.

Магда, впрочем, лишь смутно понимала, чего именно добивается. Далеко-далеко маячил образ фильмовой дивы. Господин в

нарядном пальто с котиковым воротником шалью подсаживал ее в лаковый автомобиль. Она покупала переливчатое, прямо-таки журчащее платье, которое сияло и лилось в витрине баснословного магазина. Сидеть часами нагишом и даже не получать в свою собственность портреты, которые с нее пишут, было довольно пресным делом. Она не замечала, что в каком-то смысле гений ее судьбы — гений кинематографический. Присутствия и мановения его она не заметила даже в тот весенний вечер, когда Левандовская впервые упомянула о “влюбленном провинциале”.

“Нельзя тебе жить без друга, — спокойно сказала Левандовская, попивая кофе. — Ты — бойкое дитя, ты — попрыгунья, ты без друга пропадешь. Он скромный человек, провинциальный житель, и ему нужна тоже скромная подруга в этом городе соблазнов и скверны”.

Магда держала на коленях собаку Левандовской — толстую желтую таксу с сединой на морде и с длинной бородавкой на щеке. Она взяла в кулак шелковое ухо собаки и, не поднимая глаз, ответила:

“Ах, это успеется. Мне только пятнадцать. И зачем? Все это будет так — зря, я знаю этих господ”.

“Ты дура, — сказала Левандовская с раздражением, — я тебе рассказываю не о шалопае, а о добром, щедром человеке, который видел тебя на улице и с тех пор только тобой и бредит”.

“Какой-нибудь старичок”, — заметила Магда и поцеловала собаку в лоб.

“Дура, — повторила Левандовская. — Ему тридцать лет, он бритый, шикарный — шелковый галстук, золотой мундштук. У него только душа скромная”.

“Гулять, гулять”, — сказала Магда собаке, — та сползла на пол и потом, в коридоре, затрусилась, держа тело бочком, как это делают все старые таксы.

Господин, о котором шла речь, не был ни провинциалом, ни скромным человеком, ни даже Мюллером (фамилия, под которой он представился). С Левандовской он познакомился через двух темпераментных коммивояжеров, с которыми играл в покер по дороге из Гамбурга в Берлин. О цене сначала не упоминалось: сегодня показала фотографию улыбающейся девочки, и Мюллер потребовал смотрин. В назначенный день Левандовская накупила пирожных, наварила много кофе, посоветовала надеть как раз то красное платье, которое Магде теперь казалось таким потрепанным, таким детским, и около шести раздался жданный звонок. “Чем я рискую, — в последний раз подумала Магда. — Если он собой дурен, то я ей так и скажу, а если нет, то я еще успею решить”.

К сожалению, нельзя было так просто установить, дурен ли или хорош Мюллер. Странное, своеобразное лицо. Матово-черные волосы были небрежно причесаны на пробор сухой щеткой, на слегка

впалые щеки как будто лег тонкий слой рисовой пудры. Блестящие рысьи глаза и треугольные ноздри ни минуты не оставались спокойными, между тем как нижняя часть лица с двумя мягкими складками по бокам рта была, напротив, весьма неподвижна, — изредка только он облизывал глянцевитые толстые губы. На нем были замечательная голубая рубашка, яркий, как тропическое небо, галстук и сине-вороной костюм с широченными панталонами. Он великолепно двигался, поводя крепкими квадратными плечами, — это был высокий и стройный мужчина. Магда ждала совсем не такого и несколько потерялась, когда, сидя со скрещенными руками на твердом стуле и сквозь зубы разговаривая с Левандовской о достопримечательностях Берлина, Мюллер принялся ее, Магду, потрошить взглядом; вдруг, перебив самого себя на полслове, он спросил ее резким, звенящим голосом, как ее зовут. Она сказала. “Ага, Магдалина”, — произнес он с коротким смешком и, так же внезапно освободив ее от напора своего взгляда, продолжал свой глухой разговор с Левандовской.

Погодя он замолк, закурил и, отдирая прилипший к яркой, словно воспаленной губе кусочек папиросной бумаги, сказал: “Идея, госпожа Левандовская. Возьмите на мой счет автомобиль и поезжайте в оперу — у меня вот оказался свободный билет, вы как раз успеете”.

Левандовская поблагодарила, степенно возразив, что сегодня устала и остается дома. “Можно вам сказать два слова?” — недовольно проговорил Мюллер и встал со стула. “Выпейте еще чашку”, — спокойно предложила Левандовская. Он пожал плечами, окинул Магду каким-то хлещущим взглядом, но вдруг просиял добродушной улыбкой, сел на диван рядом с ней и принялся рассказывать серию анекдотов о каком-то своем приятеле певце, который в “Лоэнгрине” не успел сесть на лебедя и решил ждать следующего. Магда кусала губы и вдруг наклоняла голову, помирая со смеху. У Левандовской уютно трясса бюст.

Он позволил себе роскошь медленного подступа, осторожных и ласковых взглядов, даже вздохов. Левандовская, получившая только небольшой задаток, а заломившая неслыханную цену, не отходила ни на шаг. С ее согласия Магда перестала позировать и проводила целые дни за вышивкой. Иногда, когда она вечером выводила собаку, Мюллер вырастал из сумерек и шел рядом с нею, и ее это так волновало, что она невольно ускоряла шаг, и забытая такса отставала, упорно и грустно ковыляя бочком, бочком. Левандовская вскоре почуяла эти встречи и стала выводить собаку сама.

Так прошло больше недели со дня знакомства. Однажды Мюллер решил принять чрезвычайные меры. Платить огромную сумму, которую просила сводня, было нелепо, раз дело выходило само собою. Придя вечером, он много наговорил смешного, выпил три

чашки кофе, затем, улучив мгновение, подошел к Левандовской, поднял ее, быстрой, мелкой рысцой понес в ванную и, ловко переставив ключ, запер дверь. Левандовская была так поражена, что первые полминуты молчала, — потом, впрочем, принялась вопить, стучать и ухать всем телом в дверь. “Забирай свои вещи и айда”, — обратился он к Магде, которая стояла среди гостиной, держась за голову.

Они поселились в хорошей комнате, снятой им накануне, и, едва переступив порог, Магда с охотой, с жаром, даже с какой-то злостью предалась судьбе, осаждавшей ее так давно, так упорно. Мюллер, впрочем, нравился ей совсем по-особенному, — было что-то неотразимое в его глазах, в голосе, в ухватках, в его манере толстыми жаркими губами ездить вверх и вниз по спине, между лопатками. Он мало с ней разговаривал, часами сидел, держа ее у себя на коленях, посмеиваясь и о чем-то думая. Она не знала, какие у него дела в Берлине, кто он, — и каждый раз, когда он уходил, боялась, что он не вернется. Если не считать этой боязни, она была счастлива, до глупости счастлива, она мечтала, что сожитительство их будет длиться всегда. Кое-что он ей подарил, — парижскую шляпу, часики, — впрочем, не был чрезвычайно щедр на подарки, зато водил ее в хорошие рестораны и в большие кинематографы, где она до слез хохотала над похождениями Чипи. Он так пристрастился к Магде, что часто, уже собираясь уходить, вдруг бросал шляпу в угол (эта привычка обращаться с дорогой шляпой ее немножко удивляла) и оставался. Все это продолжалось ровно месяц. Как-то утром он встал раньше обыкновенного и сказал, что должен уехать. Она спросила, надолго ли. Он уставился на нее, потом заходил по комнате в своей ослепительной малиново-лазурной пижаме, потирая руки, словно намыливал их. “Навсегда, навсегда”, — сказал он вдруг и, не глядя на нее, стал одеваться. Она подумала, что он, может быть, шутит, и решила выждать — откинула одеяло, так как было очень душно в комнате и, вытянувшись, повернулась к стенке. “У меня нет твоей фотографии”, — проговорил он, со стуком надевая башмаки. Потом она слышала, как он возится с чемоданом, защелкивает его. Еще через несколько минут: “Не двигайся и не смотри, что я делаю”. “Застрелит”, — почему-то подумала она, но не шелохнулась. Что он делал? Тишина. Она чуть двинула голым плечом. “Не двигайся”, — повторил он. “Целится”, — подумала Магда без всякого страха. Тишина продолжалась минут пять. В этой тишине бродил, спотыкаясь, какой-то маленький шуршащий звук, который казался ей знакомым, но почему знакомым? “Можешь повернуться”, — проговорил он с грустью, но Магда лежала неподвижно. Он подошел, поцеловал ее в щеку и быстро вышел. Она пролежала в постели весь день. Он не вернулся.



На другое утро она получила телеграмму из Гамбурга: “Комната оплачена до июля прощай доннерветтер прощай”. “Господи, как я буду жить без него?” — проговорила Магда вслух. Она мигом распахнула окно, решив одним прыжком с собой покончить. К дому напротив, звеня, подъехал красно-золотой пожарный автомобиль, собиралась толпа, из верхних окон валил бурый дым, летели какие-то черные бумажки. Она так заинтересовалась пожаром, что отложила свое намерение.

У нее оставалось очень мало денег; с горя, как в хороших фильмах, она пошла шляться по танцевальным кафе. Вскоре она познакомилась с двумя японцами и, будучи слегка навеселе, согласилась у них переночевать; утром она попросила двести марок, они ей дали три с полтиной и вытолкали вон, — после чего она решила быть осмотрительнее.

Однажды к ней подсел толстый старый человек, с носом, как гнилая груша, и с коричневыми точками сплошь по всей лысине, и сказал: “Приятно опять встретиться, помните, барышня, как мы резвились на пляже в Герингсдорфе?” Она, смеясь, ответила, что он ошибается. Старик спросил, что она желает пить. Потом он поехал провожать ее и в темноте таксомотора сделался очень косноязычен и гадок. Она выскочила. Старик вышел тоже и, не смущаясь присутствием шофера, умолял о свидании. Она дала ему номер своего телефона. Когда он ей оплатил комнату до ноября да еще дал денег на котиковое пальто, она позволила ему остаться у нее на ночь. С ним оказалось сначала очень легко, он сразу засыпал, после краткого и слабого объятия, и спал непробудно до рассвета. Потом он начал требовать всяких странных новшеств. Гардероб ее пополнился двумя новыми платьями. Неожиданно он пропустил назначенное свидание, через несколько дней она позвонила к нему в контору и узнала, что он скончался. Воспоминание о старике было омерзительно. Такого опыта она решила не повторять. Продав шубу, она дотянула до февраля. Накануне этой продажи ей страстно захотелось показаться родителям. Она подъехала к дому в таксомоторе. День был субботний, мать полировала ручку входной двери. Увидев дочь, она так и замерла. “Боже мой!” — воскликнула она с чувством. Магда молча улыбнулась; села снова в таксомотор и уже в окно увидела брата, который выбежал на панель, кричал ей что-то вслед — вероятно, угрозы.

Она переехала в комнату подешевле, вечерами неподвижно сидела на краю кушетки в нарастающей темноте, подпирая виски ладонями и пыхтя папиросой. Хозяйка, пожилая, неопределенных занятий, заглядывала к ней, сердобольно ее спрашивала, рассказывала, что у ее родственника маленький кинематограф, приносящий неплохой доход. Зима была холодная, деньги шли на убыль.

“Что же будет дальше?” — думала Магда. Как-то в бодрый и дерзкий день она ярко нарядилась и, выбрав самую звучную по названию кинематографическую контору на Фридрихштрассе, добилась того, что директор ее принял. Он оказался пожилым господином с черной повязкой на правом глазу и с пронзительным блеском в левом. Магда начала с того, что, дескать, уже много играла в провинции, получала хорошие роли... “В кино?” — спросил тот, ласково глядя на ее возбужденное лицо. Она назвала какую-то фирму, какую-то картину — очень убедительно и даже надменно — оттого что все повторяла про себя: “Как он смеет не знать меня, как он смеет сомневаться...” Последовало молчание. Директор прищурил единственный видимый глаз и сказал: “А знаете, ведь вам повезло, что вы попали именно ко мне. Любой мой коллега соблазнился бы вашей молодостью, наобещал бы вам горы добра и потребовал бы от вас очень определенного, очень банального задатка. Затем он бы вас бросил. Я человек немолодой, много видевший, у меня дочка, вероятно, старше вас, — и вот позвольте мне вам сказать: вы никогда актрисой не были и, вероятно, не будете. Пойдите домой, подумайте хорошенько, посоветуйтесь с вашими родителями...”

Магда хлестнула перчаткой по краю стола, встала и с искаженным лицом вышла вон. В том же доме была еще одна фирма. Там ее просто не приняли. В третьем месте ей сказали, чтобы как-нибудь отделаться от нее: “Оставьте ваш телефон”. Она вернулась домой в бешенстве. Хозяйка сварила ей два яйца, гладила ее по плечу, пока Магда жадно и сердито ела, потом принесла бутылку коньяку, две рюмки и, налив их до краев, унесла бутылку. “Ваше здоровье, — сказала она, опять садясь за стол. — Все будет благополучно. Я как раз завтра увижу моего деверя, я с ним поговорю...”

Первое время Магду забавляла новая должность. Было, правда, немного обидно начинать кинематографическую карьеру не актрисой, даже не статисткой... К концу первой же недели ей уже казалось, что она всю жизнь только и делала, что указывала людям места. В пятницу, впрочем, была перемена программы, это ее оживило. Стоя в темноте, прислонясь к стенке, она смотрела на Грету Гарбо. Через два-три сеанса ей стало опять нестерпимо скучно. Прошла еще неделя. Какой-то посетитель, замешкав в дверях, странно посмотрел на нее — застенчивым и жалобным взглядом. Через два-три вечера он появился опять. Выглядел он довольно молодо, был отлично одет, косил на нее жадным голубым глазом... “Человек очень приличный, но размазня”, — подумала Магда. Когда, появившись в четвертый или пятый раз, он пришел невпопад, то есть на фильме, которую уже раз видел, Магда почувствовала некоторое возбуждение. Вместе с тем ей было памятно предупреждение хозяина: “Один раз глазки — вышвырну”. Посетитель, однако, был удивительно робок. Выйдя как-то из кинематографа,

чтобы отправиться домой, Магда увидела его неподвижно стоящим на той стороне улицы. Она засеменила, не оглядываясь, рассчитывая, что он перейдет наискосок улицу и последует за ней. Этого, однако, не случилось: он исчез. Когда через два дня он опять пришел в “Аргус”, был у него какой-то больной, затравленный, очень интересный вид. По окончании последнего сеанса Магда вышла, раскрывая зонтик. “Стоит”, — отметила она про себя и перешла к нему, на ту сторону. Он двинулся, уходя от нее, как только заметил ее приближение. Сердце у него билось в гортани, не хватало воздуха, пересохла губы. Он чувствовал, как она идет сзади, и боялся ускорить шаг, чтобы не потерять счастья, и боялся шаг замедлить, чтобы счастье не перегнало его. Но, дойдя до перекрестка, Кречмар принужден был остановиться: проезжали гуськом автомобили. Тут она его перегнала, чуть не попала под автомобиль и, отскочив, ухватилась за его рукав. Засветился зеленый диск. Он нащупал ее локоть, и они перешли. “Началось, — подумал Кречмар, — безумие началось”.

“Вы совершенно мокрый”, — сказала она с улыбкой, он взял из ее руки зонтик, и она еще теснее прижалась к нему, и сверху барабанило счастье. Одно мгновение он побоялся, что лопнет сердце, — но вдруг полегчало, он как бы разом привык к воздуху восторга, от которого сперва задышался, и теперь заговорил без труда, с наслаждением.

Дождь перестал, но они все шли под зонтиком. У ее подъезда остановились, зонтик был отдан ей и закрыт. “Не уходите еще”, — взмолился Кречмар и, держа руку в кармане пальто, попробовал большим пальцем снять с безымянного обручальное кольцо — так, на всякий случай. “Постойте, не уходите”, — повторил он и наконец судорожным движением освободился от кольца. “Уже поздно, — сказала она, — моя тетя будет сердиться”. Кречмар подошел к ней вплотную, взял за кисти, хотел ее поцеловать, но попал в ее шапочку. “Оставьте, — пробормотала она, наклоня голову. — Оставьте, это нехорошо”. “Но вы еще не уйдете, у меня никого нет в мире, кроме вас”. “Нельзя, нельзя”, — ответила она, вертя ключом в замке и напирая на дверь. “Завтра я буду опять ждать”, — сказал Кречмар. Она улыбнулась ему сквозь стекло.

Кречмар остался один, он, отдуваясь, расстегнул пальто, почувствовал вдруг легкость и наготу левой руки, поспешно надел еще теплое кольцо и пошел к таксомоторной стоянке.

## IV

Дома ничего не изменилось, и это было странно: жена, дочь, Макс принадлежали точно другой эпохе, мирной и светлой, как пейзажи ранних итальянцев. Макс, весь день работавший в театральной своей конторе, любил отдыхать у сестры, души не чаял в племяннице и с нежным уважением относился к Кречмару, к его суждениям, к темным картинам по стенам, к шпинатному гобелену в столовой.

Кречмар, отпирая дверь своей квартиры, с замиранием, со сквозняком в животе, думал о том, как сейчас встретится с женой, с Максом, — не почуют ли они измену (ибо эта прогулка под дождем являлась уже изменой — все прежнее было только вымыслом и снами), быть может, его уже заметили, выследили, — и он, отпирая дверь, торопливо сочинял сложную историю о молодой художнице, о бедности и таланте ее, о том, что ей нужно помочь устроить выставку... Тем живее он ощутил переход в другую, ясную, эпоху, которую он за один вечер так лихорадочно опередил, — и, после мгновенного замешательства от вида неизменившегося коридора, от белизны двери в глубине, за которой спала дочка, от честных плеч Максова пальто, любовно надетого горничной на плюшевую вешалку, от всех этих домашних знакомых примет, наступило успокоение: все хорошо, никто ничего не знает. Он пошел в гостиную: Аннелиза в клетчатом платье, Макс с сигарой да еще старая знакомая, вдова барона, обедневшая во время инфляции и теперь торговавшая коврами и картинами... Неважно, что говорили, — важно только это ощущение повседневности, обыкновенности, простоты. И потом, в мирно освещенной спальне, лежа рядом с женой, Кречмар дивился своей двойственности, отмечал свою ненарушимую нежность к Аннелизе, — и одновременно в нем пробегала молниевидная мысль, что, быть может, завтра, уже завтра, да, наверное, завтра...

Но все это оказалось не так просто. И во второе свидание, и в последующие Магда искусно избегала поцелуев. Рассказывала она о себе немного — только то, что сирота, дочь художника, живет у тетки, очень нуждается, хотела бы переменить свою утомительную службу. Кречмар назвался Шиффермюллером, и Магда с раздражением подумала: “Везет мне на мельников”, — а затем: “Ой,

врешь”. Март был дождливый, ночные прогулки под зонтиком мучили Кречмара, он предложил ей как-то зайти в кафе. Кафе он выбрал маленькое, мизерное, зато безопасное. У него была манера, когда он усаживался в кафе или ресторане, сразу выкладывать на стол портсигар и зажигалку. На портсигаре Магда заметила инициалы “Б. К.”. Она промолчала, подумала и попросила его принести телефонную книгу. Пока он своей несколько мешковатой, разгильдяйской походкой шел к телефону, она быстро посмотрела на шелковое дно его шляпы, оставшейся на стуле, и прочла его имя и фамилию (необходимая мера предосторожности против рассеянности художников при шапочном разборе). Кречмар, нежно улыбаясь, принес книгу, и, пользуясь тем, что он смотрит на ее шею и опущенные ресницы, Магда живо нашла его адрес и телефон и, ничего не сказав, спокойно захлопнула потрепанный, размякший голубой том. “Сними пальто”, — тихо сказал Кречмар, впервые обратившись к ней на “ты”. Она, не вставая, принялась вылезать из рукавов макинтоша, нагнув голову, наклоняя плечи то вправо, то влево, и на Кречмара веяло фиалковым жаром, пока он помогал ей освободиться от пальто и глядел, как ходят ее лопатки, как собираются и расходятся складки смугловатой кожи на позвонках. Это продолжалось мгновение. Она сняла шляпу, посмотрелась в зеркало и, пошлунув палец, пригладила на висках темно-каштановые акрошкеры. Кречмар сел рядом с ней, не спускал глаз с этого лица, в котором все было прелестно: и жаркий цвет щек, и блестящие от ликера губы, и детское выражение удлинённых карих глаз, и чуть заметное пятнышко на пушистой скуле. “Если мне бы сказали, что за это меня завтра казнят, — подумал он, — я все равно бы на нее смотрел”. Даже легкая вульгарность, берлинский перелив ее речи, ахи и смешки перенимали особое очарование у звучности ее голоса, у блеска белозубого рта, — и, смеясь, она сладко жмурилась. Он хотел взять ее руку, но она и этого не позволила. “Ты сведешь меня с ума”, — пробормотал Кречмар. Магда хлопнула его по кисти и сказала, тоже на “ты”: “Веди себя хорошо, будь послушным”.

Первой мыслью Кречмара на другое утро было: “Так дальше невозможно. Следует взять для нее комнату — без тетки. Так устроить, чтобы ей не служить. Мы будем одни, мы будем одни. Обучать арсу аморису. Она еще так молода. Удивительно, как это у нее нет жениха или друга...”

“Ты спишь?” — тихо спросила Аннелиза. Он притворно зевнул и открыл глаза. Аннелиза, в голубой ночной сорочке, сидела на краю постели и читала письма.

“Что-нибудь интересное?” — спросил Кречмар, глядя на ее пресно-белое предплечье.

“Он просит у тебя опять денег. Говорит, что жена и теща больны, что против него интригуют, — нужно дать”.

“Да-да, непременно”, — отвечал Кречмар, необычайно живо представив себе покойного отца Магды, — тоже, вероятно, старого, малодаровитого, разжеванного жизнью художника.

“А это — приглашение в “Палитру”, придется пойти. А это — из Америки”.

“Прочти вслух”, — попросил он.

“Глубокоуважаемый господин Кречмар. Мой поверенный сообщает мне о том живом и беспристрастном внимании, которое вы уделили делу о нарушении моих прав. Я предполагаю...”

Тут затрещал телефон на ночном столике. Аннелиза цокнула языком и взяла трубку. Кречмар, растерянно глядя на ее белые пухлые пальцы, сжимающие черную трубку, вчуже слышал микроскопический голос, говоривший с другого конца.

“А, здравствуйте”, — воскликнула Аннелиза и сделала мужу ту определенную, пучеглазую гримасу, по которой он всегда знал, что звонит баронесса, большая телефонница. Он потянулся за письмом из Америки, лежащим на перине, и посмотрел на подпись. Вошла Ирма, всегда приходившая по утрам здороваться с родителями. Она молча поцеловала отца, молча поцеловала мать, которая то слушала, то восклицала и порою кивала вместе с трубкой. “Чтобы никаких сюрпризов няне сегодня не было”, — тихо сказал Кречмар дочке, намекая на какое-то недавнее прегрешение. Ирма улыбнулась. Она была некрасивая, со светлыми ресницами, с веснушками над бледными бровями и очень худенькая.

“До свидания, спасибо, до свидания”, — облегченно проговорила Аннелиза и звонко повесила трубку. Кречмар принялся за чтение письма. Аннелиза держала дочь за руки и что-то ей говорила, смеясь, целуя ее и слегка подергивая после каждой фразы. Ирма все улыбалась и скребла ногой по полу.

Опять затрещал телефон. Кречмар приложил трубку к уху.

“Здравствуй, Бруно Кречмар”, — сказал незнакомый женский голос. “Кто говорит?” — спросил Кречмар и вдруг почувствовал, словно спускается на очень быстром лифте. “Нехорошо было меня обманывать, — продолжал голос, — но я тебя прощаю. Ты слушаешь? Я хотела только тебе сказать, что...” “Ошибка, это другой”, — хрипло сказал Кречмар и разъединил. В то же мгновение с ужасом подумал, что как он давеча слышал голос, просачивавшийся с того конца, и даже как будто различал слова, так и Аннелиза теперь могла все слышать. “Что это было? — с любопытством спросила она. — Отчего ты такой красный?”

“Какая-то дичь! Ирма, уходи, нечего тебе тут валандаться. Совершенная дичь. Уже десятый раз попадают ко мне по ошибке. Он пишет, что, вероятно, придет зимой в Берлин и хочет со мной познакомиться”.

“Кто пишет?”

“Ах, господи, никогда ничего сразу не понимаешь. Ну вот этот самый, карикатурист, из Америки. Этот самый Горн...”

“Какой Горн?” — уютно спросила Аннелиза.

## V

Вечерняя встреча выдалась довольно бурная. Весь день Кречмар пробыл дома, боясь, что Магда позвонит опять. Это следовало в корне пресечь. Когда она вышла из “Аргуса”, он прямо с того начал: “Послушай, Магда, я тебе запрещаю звонить мне. Это черт знает что такое. Если я тебе не сообщил моей фамилии, значит, были к тому основания”. “Всего лучшего”, — спокойно проговорила Магда и пошла не оглядываясь. Он дал ей отойти, постоял, беспомощно глядя ей вслед. Какой промах — надо было смолчать, она в самом деле подумала бы, что ошиблась... Тихонько обогнав ее, Кречмар пошел рядом. “Прости меня, — сказал он. — Не нужно на меня сердиться, Магда. Я без тебя не могу. Вот я все думал: брось службу, это так утомляет тебя. Я богат. У тебя будет своя комната, квартира, все, что хочешь”.

“Я понимаю, в чем дело, — проговорила Магда холодным голосом. — Ты, вероятно, все-таки женат, как я и думала сначала. Иначе ты не был бы со мной так груб по телефону”.

“А если я женат, — спросил Кречмар, — ты со мной больше не будешь встречаться?”

“Мне какое дело? Надувай ее, ей, должно быть, полезно”.

“Магда, не надо!” — воскликнул Кречмар опешив.

“А ты меня не учи”.

“Магда, послушай, это правда — у меня жена и ребенок, но я прошу тебя, эти насмешки лишние... Ах, погоди, Магда!” — добавил он, всплеснув руками.

“Поди ты к дьяволу!” — крикнула она и захлопнула ему дверь в лицо.

“Погадайте мне”, — сказала она хозяйке.

Та вынула из ящика колоду карт, столь сальных, что из них можно было сварить суп. Появился богатый брюнет, потом козни, хлопоты, какая-то пирушка... “Надо посмотреть, как он живет, — думала Магда, облокотясь на стол. — Может быть, он все-таки шантрапа, и не стоит связываться. Согласиться? Не рано ли?”

Через день она позвонила ему снова. Аннелиза была в ванной. Кречмар заговорил почти шепотом, посматривая на дверь. Несмотря на боязнь, он испытывал большое счастье оттого, что Магда его простила. “Мое счастье, — сказал он, вытягивая губы, — мое счастье”. “Слушай, когда твоей жены не будет дома?” — спросила



она со смехом. “Не знаю, — ответил Кречмар, похолодев, — а что?” “Я хочу к тебе прийти на минутку”. Он помолчал. Где-то стукнула дверь. “Я боюсь дольше говорить”, — пробормотал Кречмар. “Какой ты трус. Помни, что если я к тебе приду, то поцелую”. “Сегодня не знаю, не выйдет, — сказал он через силу. — Если я сейчас повешу трубку, не удивляйся, вечером увижу, мы тогда...” Он повесил трубку и некоторое время сидел неподвижно, слушая гром сердца. “Я действительно трус, — подумал он. — Она в ванной еще провозится с полчаса...”

“У меня маленькая просьба, — сказал он Магде при встрече. — Сядем в автомобиль, покатаемся”. “В открытый”, — вставила Магда. “Нет, это опасно. Обещаю тебе хорошо себя вести”, — добавил он, любуясь при свете фонаря ее по-детски поднятым к нему лицом.

“Вот что, — заговорил он, когда они очутились в таксомоторе. — Я на тебя, конечно, не в претензии за то, что ты мне звонишь, но я прошу и даже умоляю тебя больше этого не делать, моя прелесть, мое сокровище (“Давно бы так”, — подумала Магда); во-вторых, объясни мне, как ты узнала мою фамилию”. Она безо всякой надобности солгала, что его, дескать, знает в лицо одна ее знакомая, которая их видела вместе на улице. “Кто такая?” — спросил с ужасом Кречмар. “Ах, простая женщина, родня, кажется, кухарки или горничной, служившей у тебя когда-то”. Кречмар мучительно напряг память. “Я, впрочем, сказала ей, что она обозналась, — я умная девочка”.

В автомобиле переливались пятнистые потемки, она сидела до одури близко, от нее шло какое-то блаженное, животное тепло, мимо окон проносился шумный сумрак ночного Тиргартена... “Я умру, если не буду ею обладать, или свихнусь”, — подумал Кречмар и сказал: “В-третьих, насчет твоего переселения. Найди себе квартиру в две-три комнаты с кухней. Я за все заплачу. С условием, что ты мне позволишь к тебе заглядывать”. “Ты, кажется, забыл, Бруно, наш утренний разговор”. “Но это так опасно, — воскликнул Кречмар. — Вот, например, завтра я буду один приблизительно с четырех до шести. Но мало ли что может случиться...” Он себе представил, как жена ненароком воротится с дороги... Молодая художница, нужно ей помочь устроить выставку. “Но я же тебя поцелую, — тихо сказала Магда. — И знаешь, все в жизни всегда можно объяснить”.

Всякая мысль о Магде, о ее тонком отроческом сложении и шелковистой коже всегда вызывала у него дрожь в ногах, желание застонать. Обещанное прикосновение казалось таким блаженством, что дальше некуда. Однако за этим еще открывалась новая, невероятная даль: там ждал его взгляда тот самый образ, который еще недавно множество живописцев так равнодушно и плохо

рисовали, поднимая и опуская глаза. Но об этих скучных солнечных часах в студиях Кречмар ровно ничего не знал. Мало того, на днях старый доктор Ламперт показывал ему пачку рисунков углем, сделанных за последний год его сыном, а среди них был портрет голой стройной девочки с ожерельем на шее и с темной прядью вдоль склоненного лица. “Горбун вышел лучше”, — заметил Кречмар, вернувшись к другому листу, где был изображен бородастый урод со смело прочерченными морщинами. “Да, талантлив”, — добавил он, захлопнув папку. И все. Он ничего не понял.

И сейчас его тряс озноб, он ходил по кабинету и смотрел в окно, и справлялся о времени у всех часов в доме. Магда уже опоздала на двадцать минут. “Подожду до половины и спущусь на улицу, — прошептал он, — а то уже будет поздно, поздно, — у нас так мало времени...”

Окно было открыто. Сиял мокрый весенний день, по желтой стене дома напротив струилась тень дыма из теневой трубы. Кречмар высунулся по пояс, опираясь пальцами о подоконник. “Боже мой, следовало ей твердо сказать: ко мне нельзя”. В это мгновение он завидел ее — она переходила улицу, без пальто, без шляпы, словно жила поблизости.

“Есть еще время сбежать, не пустить”, — подумал он, но вместо этого вышел в прихожую и, когда услышал ее легкий шаг на лестнице, бесшумно открыл дверь.

Магда, в коротком ярко-красном платье, с открытыми руками, улыбаясь, взглянула в зеркало, потом повернулась на одной ноге, приглаживая затылок. “Ты роскошно живешь”, — сказала она, сияющими глазами окидывая широкую прихожую, пистолеты и сабли на стене, прекрасную темную картину, кремовый кретон вместо обоев. “Сюда?” — спросила она, толкнув дверь, и, войдя, продолжала бегать глазами по сторонам.

Он, замирая, взял ее одной рукой за талию и вместе с ней глядел на люстру, на шелковую мебель, словно и сам был чужой здесь, — но видел, впрочем, только солнечный туман, все плыло, кружилось, и вдруг под его рукой что-то дивно дрогнуло, бедро ее чуть поднялось, она двинулась дальше. “Однако, — сказала она, перейдя в следующую комнату, — я не знала, что ты так богат, какие ковры...”

Буфет в столовой, хрусталь и серебро так на нее подействовали, что Кречмару удалось незаметно нащупать ее ребра и — повыше — горячую, нежную мышцу. “Дальше”, — сказала она облизнувшись. Зеркало отразило бледного, серьезного господина, идущего рядом с девочкой в красном платье. Он осторожно погладил ее по голой руке, теплой и удивительно ровной, — зеркало затуманилось... “Дальше”, — сказала Магда.

Он жаждал поскорее привести ее в кабинет, сесть с ней на диван; вернись жена, все было бы просто: посетительница, по делу...

“А там что?” — спросила Магда.

“Там детская. Ты все уже осмотрела, пойдем в кабинет”.

“Пусти”, — сказала она, заиграв ключицами.

Он всей грудью вздохнул, словно не дышал все то время, пока держал ее, идя с нею рядом.

“Детская, Магда, — я тебе говорю: детская”.

Она и туда вошла. У него было странное желание вдруг крикнуть ей: пожалуйста, ничего не трогай. Но она уже держала в руках толстую морскую свинку из плюша. Он взял это из ее рук и бросил в угол. Магда засмеялась. “Хорошо живется твоей девочке”, — сказала она и открыла следующую дверь.

“Магда, полно, — сказал с мольбой Кречмар. — Не юли так. Отсюда не слышно, кто-нибудь может прийти. Все это страшно рискованно”.

Но она, как взбалмошный ребенок, увернулась, через коридор вошла в спальню. Там она села у зеркала, перекинула ногу на ногу, повертела в руках щетку с серебряной спиной, понюхала горлышко флакона.

“Пожалуйста, оставь”, — сказал Кречмар. Тогда она вскочила, отбежала к двуспальной кровати и села на край, по-детски поправляя подвязку и показывая кончик языка.

“...А потом застрелюсь...” — быстро подумал Кречмар.

Но она опять отскочила и, увильнув от его рук, выбежала из комнаты. Он кинулся за ней. Магда захлопнула дверь и, громко дыша и смеясь, повернула снаружи ключ (ах, как колотила в дверь бедная Левандовская!..)

“Магда, отопри”, — тихо сказал Кречмар. Он услышал ее быстро удаляющиеся шаги. “Отопри”, — повторил он громче. Тишина. Полная тишина. “Опасное существо, — подумал он. — Какое, однако, фарсовое положение”. Он испытывал страх, досаду, мучительное чувство обманутой жажды... Неужели она ушла? Нет, кто-то ходил по квартире. Кречмар легонько стукнул кулаком и крикнул: “Отопри, слышишь!” Шаги приблизились. Это была не Магда.

“Что случилось? — раздался неожиданно голос Макса. — Что случилось? Ты заперт” (Боже мой, ведь у Макса был ключ от квартиры!). Дверь открылась, Макс был очень красен. “В чем дело, Бруно?” — спросил он с тревогой.

“Глупейшая история... Я сейчас тебе расскажу... Пойдем в кабинет, выпьем по рюмке”.

“Я испугался, — сказал Макс. — Я думал, бог знает что случилось. Хорошо, знаешь, что я зашел. Аннелиза мне говорила, что будет дома к шести. Хорошо, что я пришел раньше. Хорошо, знаешь. Я думал прямо не знаю что. Кто тебя запер?”

Кречмар стоял к нему спиной, доставая бутылку коньяку из шкапа. “Ты никого не встретил на лестнице?” — спросил он, стараясь говорить спокойно.

“Нет, я приверженец лифта”, — ответил Макс.

“Пронесло”, — подумал Кречмар и очень оживился.

“Понимаешь, какая штука, — сказал он, наливая коньяк, — был вор. Этого не следует, конечно, сообщать Аннелизе, но был вор. Понимаешь, он думал, очевидно, что никого нет дома, знал, что ушла прислуга. Вдруг слышу шум. Выхожу в коридор, вижу: бежит человек — вроде рабочего. Я за ним. Хотел его схватить, но он оказался ловчее и запер меня. Потом я слышал, как стукнула дверь — вот я и думал, что ты его встретил”.

“Ты шутишь”, — сказал Макс с испугом.

“Нет, совершенно серьезно...”

“Но ведь он, вероятно, успел стащить что-нибудь. Нужно проверить. Нужно заявить в полицию”.

“Ах, он не успел, — сказал Кречмар. — Все это произошло мгновенно, я его спугнул”.

“Но как же он проник? С отмычкой, что ли? Невероятно! Пойдем посмотрим”.

Они прошли по всем комнатам, проверили замки дверей и шкапов. Все было чинно и сохранно. Уже к концу их исследования, когда они проходили через библиотечную, у Кречмара вдруг потемнело в глазах, ибо между шкапами, из-за вертучей этажерки, выглядывал уголок ярко-красного платья. Каким-то чудом Макс ничего не заметил, хотя рыскал глазами по сторонам. В столовой он распахнул створки буфета.

“Оставь, Макс, довольно, — сказал Кречмар хрипло. — Ясно, что он ничего не взял”.

“Какой у тебя вид, — сказал Макс. — Бедный! Я понимаю, такие вещи действуют на нервы”.

Донеслись звуки голосов. Явились Аннелиза, бонна, Ирма, подруга Ирмы — толстая, с неподвижным кротким лицом, но аховая озорница. Кречмару казалось, что он спит, и вот — тянется, тянется самый страшный сон, который он когда-либо видел. Присутствие Магды в доме было чудовищно, невыносимо. Он предложил всем отправиться в театр, но Аннелиза сказала, что утомлена. За ужином он напрягал слух и не замечал, что ест. Макс все посматривал по сторонам — только бы сидел на месте, только бы не разгуливал. Была ужасная возможность: дети начнут резвиться по всем комнатам. Но, к счастью, подруга Ирмы скоро ушла. Ему казалось, что все они — и Макс, и жена, и прислуга, и он сам — беспрестанно как-то расплзаются по всей квартире и не дают Магде выскользнуть, выбраться, — если вообще она собирается это сделать. Больше компактности, сыграем, что ли, в преферанс. В десять Макс

наконец ушел. Прислуга замкнула за ним дверь на цепочку, задвинула стальной засов, включила контрольный звонок — теперь не выбраться, заперта. “Спать, спать”, — сказал Кречмар жене, нервно зевая. Они легли. Все было тихо в доме. Вот Аннелиза собралась потушить свет. “Ты спи, — сказал он, — а я еще пойду почитаю. У меня сон пропал”. Она дремотно улыбнулась. “Только потом не буди меня”, — пробормотала она. В спальне потемнело.

Все было тихо, выжидательно тихо, казалось, что тишина не выдержит и вот-вот рассмеется. В пижаме и в мягких туфлях Кречмар бесшумно пошел по коридору. Странно сказать: страх рассеялся; кошмар теперь перешел в то несколько бредовое, но блаженное состояние, когда можно сладко и свободно грешить, ибо жизнь есть сон. Кречмар на ходу расстегнул ворот пижамы: все в нем содрогалось, — ты сейчас, вот сейчас будешь моей. Он тихо открыл дверь библиотечной и включил свет. “Магда, сумасшедшая”, — сказал он жарким шепотом. Это была красная шелковая подушка с воланами, которую он сам же на днях принес, чтобы на полу, у низкой полки, просматривать фолианты.

## VI

Магда сообщила хозяйке, что скоро переезжает. Все складывалось чудесно — она и не мечтала, что Кречмар столь богат. В воздухе его жилья она почуяла добротность и основательность его богатства. Жена, судя по портретам, нимало не походила на даму с властным лицом, опухшими ногами и тяжелым характером, которую Магда представляла себе; напротив, это, видно, была смиренная, нехваткая женщина, которую можно отстранить без труда. Сам Кречмар не только не был Магде противен — он даже нравился ей. У него была мягкая, благородная наружность, от него веяло душистым тальком и хорошим табаком. Разумеется, густое счастье ее первой любви было неповторимо. Она запрещала себе вспоминать Мюллера, меловую бледность его щек, горячий мясистый рот, длинные, всепонимающие руки. Когда она все-таки вспоминала, как он покинул ее, ей сразу опять хотелось выпрыгнуть из окна или открыть газовый кран. Кречмар мог до некоторой степени успокоить ее, утолить жар, — как те прохладные листья подорожника, которые так приятно прикладывать к воспаленному месту. А кроме всего — Кречмар был не только прочно богат, он еще принадлежал к тому миру, где свободен доступ к сцене, к кинематографу. Нередко, заперев дверь, Магда делала перед зеркалом страшные глаза или расслабленно улыбалась, а не то прижимала к виску подразумеваемый револьвер, и ей сдавалось, что у нее это выходит вовсе не хуже, чем в Холливуде.

После вдумчивых и осмотрительных поисков она нашла в отличном районе неплохую квартиру. Кречмар так растерялся и обмяк после ее визита, что она пожалела его, сразу взяла деньги, которые он ей сунул во время обычной прогулки, — и в подъезде поцеловала его. Пламя этого поцелуя осталось при нем и вокруг него, будто смутный цветной ореол, в котором он вернулся домой и который он не мог оставить в передней, как шляпу, и, войдя в спальню, он недоумевал, неужто жена не увидит по его глазам, что случилось.

Но Аннелиза, трицатипятилетняя мирная Аннелиза ни разу не подумала о том, что муж может ей изменить. Она знала, что у Кречмара были до женитьбы мелкие увлечения, она помнила, что и сама, девочкой, была тайно влюблена в старого актера, который приходил в гости к отцу и смешно изображал говор саксонца;

она слышала и читала о том, что мужья и жены вечно изменяют друг другу, — об этом были и сплетни, и поэмы, и анекдоты, и оперы. Но она была совершенно просто и непоколебимо убеждена, что ее брак — особенный брак, драгоценный и чистый, из которого ни анекдота, ни оперы не сделаешь. Раздражительность и нервность мужа она объясняла погодой — май выдался необыкновенно странный, то жарко, то ледяные дожди с градом, который звякал о стекла и таял на подоконниках. “Не поехать ли нам куда-нибудь? — вскользь предложила она. — В Тироль, скажем, или в Рим?” “Поезжай, если хочешь, — ответил Кречмар. — У меня дела по горло, ты отлично знаешь”. “Да нет, я просто так”, — примирительно сказала Аннелиза и отправилась с дочкой смотреть слоненка в Зоологическом саду.

Другое дело Макс. История с запертой дверью оставила в нем неприятный осадок. Кречмар не только не заявил в полицию, но даже как будто рассердился, когда Макс опять об этом заговорил. Человек, который вступает врукопашную со взломщиком, не так-то легко примиряется с этим. Макс невольно задумывался — старался установить, не заметил ли он все-таки кого-нибудь подозрительного, когда входил в дом, направляясь к лифту. Ведь он был наблюдателен, — он заметил, например, кошку, которая выскочила из палисадника, девочку в красном платье, для которой придержал дверь, пучок звуков, доносившихся из швейцарской, где играло радио. Очевидно, взломщик притаился, пока полз вверх тонкостенный лифт. Но откуда все-таки это зыбкое неприятное чувство?

В молодости он как-то упустил жениться, жил один, был давно в связи с пожилой женщиной, увядшей актрисой, которая все еще ухитрялась ему изменять и потом всякий раз валялась у него в ногах, несказанно его этим смущая; дельно заведовал театральной конторой, слыл отличным гастрономом и немного этим гордился; писал, несмотря на свою толщину, стихи, которые никому не показывал, и состоял в обществе покровителей животных. Супружеское счастье Кречмаров было для него чем-то пленительно святым. Когда, через несколько дней после истории со взломщиком, телефонная Парка соединила его с Кречмаром, пока тот говорил с кем-то другим, Макса так ошеломили невольно перехваченные слова, что он проглотил кусочек спички, которой копал в зубах. Слова были такие: “... не спрашивай, а покупай, что хочешь, только не звони мне...” “Но ты не понимаешь, Бруно...” — привередливо и нежно проговорил женский голос. Тут Макс повесил трубку, судорожным движением, словно нечаянно схватил змею.

Вечером, сидя в смугло-озаренной гостиной с сестрой и зятем, Макс не знал, как держаться, о чем говорить. Он был из тех впечатлительных людей, которые краснеют до слез от чужой неловкости. Теперь же случилось нечто во сто крат худшее.

“Нет, нет, это ошибка, это глупое недоразумение”, — уговаривал он себя, глядя на спокойное лицо Кречмара, читавшего журнал, на его мягкие домашние туфли, на тщательность, с которой он разрезал страницы ножом из слоновой кости... “Не может быть... Меня навела на эти мысли тогдашняя история. Слова, которые я выхватил из воздуха, объясняются как-нибудь очень просто. И как же можно обманывать Аннелизу?” Она сидела в углу дивана и подробно, добросовестно рассказывала содержание пьесы, которую недавно видела. У нее были светлые, пустые глаза, лоснился нос — тонкий, милый нос. Макс кивал и улыбался. Он, впрочем, не понимал ни слова, точно она говорила по-русски или по-испански.



## VII

Между тем Магда сняла приглянувшуюся ей квартиру, наняла кухарку, накупила немало хозяйственных вещей, начиная с сервиза и кончая туалетной бумагой, заказала визитные карточки и занялась прихорашиванием комнат. Любопытно, что, невзирая на то, что Кречмар щедро — и даже с каким-то умилением — раскошелится, платил-то он, собственно говоря, вслепую, ибо не только не видел снятой квартирке, но даже не знал адреса: Магда уговорила его, что этак гораздо забавнее, будет ему сюрприз, ничего, что несколько дней пройдет без встреч, она по телефону сообщит ему адрес, когда все будет готово, и тогда он сразу примчится. Прошла неделя, предполагалось, что она позвонит в четверг, и он весь день сторожил телефон. Но телефон блестел и молчал. В пятницу он решил, что Магда надула его и навсегда исчезла. Под вечер явился Макс (эти посещения были теперь адом для Макса), Аннелизы не было дома. Макс сел в кабинете против Кречмара и не знал, о чем говорить. Кречмар давно заметил, что Макс держится странно. “Вероятно, с делами неурядицы”, — смутно подумал он. Макс курил и смотрел на кончик своей сигары. Он даже как будто похудел за последнее время. “Выследил, — с минутным содроганием подумал Кречмар. — Ну и пускай. Он мужчина, он должен понять”. (Это была очень фальшивая мысль). Вошла Ирма, и Макс оживился, посадил ее к себе на колени, смешно екнул, когда она, садясь, нечаянно въехала кулачком в его упругий живот. Аннелиза вернулась. Кречмару вдруг показалась невыносимой перспектива ужина, длинного вечера. Он объявил, что не ужинает дома, пожал плечами, когда жена ласково спросила, почему он раньше не предупредил, поцеловал дочку в лоб и, торопясь, вышел.

Им владело одно желание: во что бы то ни стало, сейчас же, разыскать Магду — судьба не имела права, посулив такое блаженство, притвориться, что ничего не обещано. Его охватило такое отчаяние, что он решился на довольно опасный шаг. Он знал, что прежняя ее комната выходила во двор, он знал также, что она там жила со своей теткой. Туда-то он и направился. Проходя через двор, он увидел какую-то горничную, стелившую в одной из нижних комнат у открытого окна постель. “Фрейлейн Петерс? — переспросила она. — Кажется, съехала. Впрочем, посмотрите сами. Пятый этаж, левая дверь”.

Кречмару открыла растрепанная женщина с красными глазами, но цепочки не сняла, говорила с ним через щелку. “Я хочу узнать новый адрес фрейлейн Петерс, — сказал Кречмар. — Она тут жила со своей теткой”. “С теткой?” — не без интереса произнесла женщина и только тогда сняла цепочку. Она его ввела в крохотную комнату, где все дрожало и звякало от малейшего движения и где на клеенчатой скатерти стояли тарелки с картофельным пюре, соль в прорванном мешочке, три пустые бутылки из-под пива, и, как-то загадочно улыбаясь, предложила ему сесть.

“Если бы я была ее теткой, — сказала она подмигнув, — то, вероятно, я не знала бы ее адреса. Тетки, — добавила она, — никакой, собственно, у нее нет”. “Пьяна”, — подумал с тоской Кречмар. “Послушайте, — проговорил он, — я вас прошу сказать мне, куда она переехала”. “Она у меня снимала комнату”, — задумчиво сказала та, с горечью размышляя о неблагодарности Магды, скрывшей богатого друга и новый свой адрес, который, впрочем, оказалось нетрудно вынюхать. “Как же быть? — воскликнул Кречмар. — Где же я могу узнать?” Хозяйке стало жаль его. Она не могла решить, удовольствие или неприятность доставит она Магде тем, что сообщит адрес этому нарядному, взволнованному синеглазому господину, — но было так грустно смотреть на него, что она, вздохнув, дала ему нужную справку. “И за мной раньше охотились, и за мной, — бормотала она, провожая его, — да-да, и за мной...”

Было около восьми, легкие сумерки оживлялись нежными оранжевыми огнями, небо было еще совсем голубое, и от него кружилась голова. “Сейчас будет рай”, — подумал Кречмар, летя в таксомоторе по дымчатому асфальту.

На двери была ее визитная карточка. Угрюмая бабища с красными, как сырое мясо, руками пошла о нем доложить. “Уже кухарку завела, — восторженно подумал Кречмар. — Вот мы какие”. “Пожалуйста”, — сказала та, вернувшись. Он пригладил волосы и вошел. Магда в кимоно лежала на цветистой кушетке, заломив обнажившиеся руки; на животе у нее покоилась корешком вверх открытая книга. Комната была донельзя безвкусно обставлена, и это его растрогало.

“Ну, здравствуй”, — сказала Магда, протягивая руку с несвойственной ей ленивой томностью.

“Ты как будто знала, что я сегодня приду, — прошептал он, сдерживая смех. — Спроси, как я выюлил твой адрес”.

“Я ж тебе написала адрес”, — проговорила она, держа его за пальцы.

“Нет, это было уморительно, — продолжал Кречмар, не слушая ее и с нарастающим чувством наслаждения глядя на эти подвижные губы, которые он сейчас поцелует. — Это было уморительно... И ты очень гадкая, что выдумала тетку”.

“Зачем ты ходил туда? — произнесла Магда недовольно. — Ведь я же написала тебе мой адрес. Справа наверху, совершенно отчетливо”.

“Наверху? Отчетливо? — удивленно повторил Кречмар. — О чем ты?”

Она хлопнула по книге и слегка привстала.

“Да ведь письмо ты получил?”

“Какое письмо?” — спросил Кречмар и вдруг приложил ладонь ко рту, и глаза его расширились.

“Я сегодня утром послала тебе письмо, — сказала Магда, глядя на него с любопытством. — Я так рассчитала, что ты с вечерней почтой получишь его и сразу придешь”.

“Не может быть”, — выговорил Кречмар.

“Ах, я могу тебе пересказать. Дорогой, любимый Бруно, гнездышко свито, и я жду тебя. Только не целуй слишком крепко, а то у твоей девочки может закружиться голова... Все”.

“Магда, — сказал он тихо. — Магда, что ты наделала... Ведь я ушел раньше. Ведь почта приходит в без четверти восемь. Ведь сейчас ...”

“Опять я виновата, — сказала она. — Не смей на меня сердиться. Я ему так мило пишу, а он... Прямо обидно”.

Она дернула плечами, взяла книгу и повернулась на бок. На левой странице была картинка: Грета Гарбо, гримирующаяся перед зеркалом.

Кречмар мельком подумал: “Как странно, — случается катастрофа, а человек замечает какую-то картинку”. Часы показывали без двадцати восемь. Магда лежала, изогнутая и неподвижная, как ящерица.

“Ты же меня погубила... Ты меня”, — начал он, но не закончил и выбежал из комнаты, загремел вниз по лестнице, замахал проезжавшему таксомотору, вскочил в него и, сидя на краешке, подавшись вперед, глядел на спину шофера и бормотал: “Что же это такое, господи... я не успею... я не успею...”

Автомобиль остановился. Он выпрыгнул. Близ палисадника знакомый почтальон, расставив ноги хером, говорил с толстяком швейцаром. “Мне есть письма?” — задыхаясь, спросил Кречмар. “Только что отнес к вам наверх”, — ответил почтальон с дружелюбной улыбкой.

Кречмар поднял глаза. Окна его квартиры были нежно освещены. Он почувствовал, что теряет власть над собой, и, чтобы только не оставаться на одном месте, вошел в дом, начал подниматься. Одна площадка. Вторая. Молодая художница, ей нужно устроить выставку. Знаешь, был вор, я хотел его схватить... Землетрясение, бездна... Она уже прочла, она уже все знает. Кречмар, не дойдя до

своей двери, вдруг повернул и побежал вниз. Мелькнула кошка, гибко скользнула сквозь решетку.

Через пять минут он опять вошел в ту комнату, в которую недавно входил с таким счастливым трепетом. Магда лежала на кушетке все в той же позе застывшей ящерицы. Книга была открыта все на той же странице — гримирующаяся Грета. Он сел поодаль на стул и принялся трещать суставами пальцев.

“Перестань”, — сказала Магда, не поднимая головы. “Ну что же, письмо пришло?”

“Ах, Магда...” — тихо произнес он и прочистил горло. Потом снова прочистил еще громче и сказал петушиным голосом: “Поздно, поздно, почтальон уже выходил”.

Он встал, прошелся раза два по комнате, высморкался и сел снова на то же место.

“Она читает все мои письма, ты ведь это знаешь...” — проговорил он, глядя сквозь дрожащий туман на носок своего башмака и легонько топая им по расплывчатому узору на ковре.

“Ты бы ей запретил”.

“Ах, Магда, что ты понимаешь в этом... Так было заведено, так было всегда... Особенно по вечерам. Были всякие смешные письма... Как ты могла... Я просто не знаю, что она сделает теперь. Ведь не может быть такого чуда... Ну, хоть этот раз, хоть этот, — была занята другим, отложила, забыла... Ты понимаешь, Магда, что это бессмысленно, — чудес не бывает”.

“Ты только не выходи в прихожую, когда она прикатит. Я одна к ней выйду”.

“Кто? Когда?” — спросил он, неясно представив себе почему-то давешнюю полупьяную женщину.

“Когда? Вероятно, сейчас. У нее ведь теперь есть мой адрес”.

Кречмар все не понимал.

“Ах, ты вот о чем, — сказал он наконец. — Вот о чем... Боже мой, какая же ты глупая, Магда. Поверь, что как раз это никак не может случиться. Все — но только не это...”

“Тем лучше”, — подумала Магда, и ей стало вдруг чрезвычайно весело. Посылая письмо, она рассчитывала на гораздо меньшее: муж не показывает, жена злится, топает ногами, старается вырвать... Первая брешь сомнения была бы пробита, и это облегчило бы Кречмару дальнейший путь. Теперь же случай помог, все разрешилось одним махом. Она отложила книгу и посмотрела с улыбкой на его дрожащие губы. С ним происходило неладное, — наступила чрезвычайно важная минута, — и если не принять должных мер... Магда вытянулась, хрустнула плечами, почувствовала в своем стройном теле вполне приятное предвкушение и сказала, глядя в потолок:

“Пойди сюда, Бруно”.

Он подошел; сокрушенно мотая головой, сел на край кушетки.  
“Обними же меня, — произнесла она жмурясь, — уж так и быть — я тебя утешу”.

## VIII

Берлин, майское утро, еще очень рано. В плюще егозят воробы. Толстый автомобиль, развозящий молоко, шелестит шинами, словно по шелку. В слуховом окошке на скате черепичной крыши отблеск солнца. Воздух еще не привык к звонкам и гудкам и принимает, и носит эти звуки как нечто новое, ломкое, дорогое. В палисадниках цветет сирень; белые бабочки, несмотря на утренний холодок, летают там и сям, будто в деревенском саду. Все это окружило Кречмара, когда он вышел из дома, где провел ночь.

Он чувствовал мертвую зыбь во всем теле — и есть хотелось, и вместе с тем поташнивало, и все было какое-то чужое; неуютное прикосновение белья к коже, нервное ощущение небритости. Не диво, что был он так опустошен: эта ночь явилась той, о которой он, в конце концов, только и думал с маниакальной силою всю жизнь. Разнузданность этой шестнадцатилетней девочки лишь обострила его счастье — уже по тому, как она сводила лопатки, мурлыкала, закидывала голову, когда он только еще раздевал ее, щекотал ее губами, Кречмар понял, что не холодноватая поволока невинности ему нужна, а вот именно эта резвая природная отзывчивость. Тогда и он сразу, как в самых своих распущенных снах, сбросил с себя привычное бремя робкой и неуклюжей сдержанности. В этих снах, посещавших его так давно, ему постоянно мерещилось, что он выходит из-за скалы на пустынный пляж, и вдруг навстречу — молоденькая купальщица. У Магды был точь-в-точь снявшийся ему очаровательный очерк, — развязная естественность наготы, точно она давно привыкла бегать раздетой по взморью его снов. Она была подвижна и неугомонна — жаркое дыхание, акробатические ласки, после краткого полубморка она оживлялась снова, — подпрыгивала на матрасе и, смеясь, перелезала через грядку кровати и ходила по комнате, нарочито виляя отроческими бедрами, глядясь в зеркало и грызя сухую, оставшуюся с утра булочку.

Заснула она как-то вдруг — будто замолкла на полуслове, — уже тогда, когда в комнате электричество стало оранжевым, а окно дымно-синим. Кречмар направился в ванную каморку, но, добыв из крана только несколько капель ржавой воды, вздохнул, двумя пальцами вынул из ванны мочалку, посмотрел на подозрительное розовое мыло, подумал, что прежде всего придется научить Магду чистоте. Брезгливо одевшись и положив на столике записку, он

полюбовался, как спит Магда, прикрыл ее периной, поцеловал в теплые, растрепанные, темные волосы и тихо вышел.

И теперь, шагая вдоль пустой улицы и проникаясь жалостью к прозрачному, невинному утру, он понимал, что начинается расплата, — и постепенно, тяжелыми волнами, приливали думы о жене, о дочери. Когда он увидел дом, где прожил с Аннелизой так долго, когда тронулся лифт, в котором лет девять тому назад поднялись румяная мамка с его ребенком на руках и очень бледная, очень нежная Аннелиза, когда он остановился перед дверью, на которой холодно и безгрешно золотилась его фамилия, Кречмар почти был готов отказаться от повторения этой ночи, — только бы случилось чудо. Он говорил себе, что, если все-таки Аннелиза письма не прочла, ночное свое отсутствие он объяснит как-нибудь — даже пожертвует своей репутацией трезвенника, — напился пьян, буянил, мало ли что бывает... Однако следовало отпереть вот эту дверь и войти, и увидеть... что увидеть? Это просто нельзя было представить себе. “Может быть, не войти вовсе, оставить все так как есть, уехать, зарыться...” Вдруг он вспомнил, как на войне приходилось покидать прикрытие.

В прихожей он замер, прислушиваясь. Тишина. Обычно в этот утренний час квартира бывала уже полна звуков — шумела где-то вода, бонна звонко говорила с Ирмой, в столовой звякала горничная... Тишина. Посмотрев в угол, он заметил в стойке женин зонтик. Внезапно появилась Фрида — почему-то без передничка — и сказала с отчаянием в голосе: “Госпожа с маленькой барышней уехали, еще вечером уехали”. “Куда?” — спросил Кречмар, глядя в угол. Фрида все объяснила, говоря скоро и крикливо, а потом разрыдалась и, рыдая, взяла из его рук шляпу и трость. “Вы будете пить кофе?” — спросила она сквозь слезы. “Да, все равно, кофе...”

В спальне был многозначительный беспорядок. Желтое платье жены лежало на постели. Один из ящичков комода был выдвинут. Со стола исчезли портреты покойного тестя и дочери. Завернулся угол ковра.

Он поправил ковер и тихо пошел в кабинет. Там, на бюваре, лежало несколько распечатанных писем. Какой детский почерк у Магды. Драйеры приглашают на бал. От Горна — пустые любезности через океан. Счет от дантиста.

Часа через два явился Макс. Он, видно, неудачно побрился: на толстой щеке был черный крест пластыря. “Я приехал за ее вещами”, — сказал он на ходу. Кречмар пошел за ним следом и молча смотрел, как он и Фрида торопливо, словно спеша на поезд, наполняют сундук. “Не забудьте зонтик”, — проговорил Кречмар вяло. Потом в детской повторилось то же самое. В комнате бонны уже стоял аккуратно запертый чемодан — взяли и его.

“Макс, на два слова”, — пробормотал Кречмар и, кашлянув, пошел в кабинет. Макс последовал за ним и стал у окна. “Это катастрофа”, — сказал Кречмар. Молчание.

“Одно могу вам сообщить, — произнес наконец Макс, глядя в окно, — Аннелиза едва ли выживет. Вы... Она...” Макс осекся, и черный крест на его щеке несколько раз подпрыгнул.

“Она все равно что мертвая. Вы ее... вы с ней... Собственно говоря, вы такой подлец, каких мало”.

“Ты очень груб”, — сказал Кречмар и попробовал улыбнуться.

“Но ведь это же чудовищно! — вдруг крикнул Макс, впервые с минуты прихода посмотрев на него. — Где ты подцепил ее? Почему эта паскудница смеет тебе писать?”

“Но-но, потише”, — произнес Кречмар с бессмысленной угрозой.

“Я тебя ударю, честное слово, ударю!” — продолжал еще громче Макс.

“Постыдись Фриды, — пробормотал Кречмар. — Она ведь все слышит. Это катастрофа.”

“Ты мне ответишь?” — И Макс хотел его схватить за лацкан. Кречмар вяло шлепнул его по руке.

“Не желаю допроса, — сказал он, — все это крайне оскорбительно. Может быть, это странное недоразумение. Может быть, ничего такого нет...”

“Ты лжешь! — заорал Макс и стукнул об пол стулом. — Ты лжешь! Я только что у нее был. Продажная девчонка, которую следует отдать в исправительный дом. Я знал, что ты будешь лгать. Как ты мог, негодяй! Ведь это даже не разврат, это...”

“Довольно, довольно”, — задыхающимся голосом перебил Кречмар.

Проехал грузовик, задрожали стекла окон.

“Эх ты, — сказал Макс с неожиданным спокойствием и грустью. — Кто мог подумать...”

Он вышел. Фрида всхлипывала в прихожей. Кто-то выносил сундуки. Потом все стихло.



## IX

В полдень Кречмар с одним чемоданом переехал к Магде. Фриду оказалось нелегко уговорить остаться в пустой квартире. Она наконец согласилась, когда он предложил, чтобы в бывшую комнату бонны вселился бравый вахмистр, Фридин жених. На все телефонные звонки она должна отвечать, что Кречмар с семьей неожиданно отбыл в Италию.

Магда встретила его холодно. Утром ее разбудил бешеный толстяк, искал Кречмара и дважды назвал ее потаскухой. Кухарка, женщина недюжинных сил, вытолкала его вон. “Эта квартира, собственно говоря, рассчитана на одного человека”, — сказала она, взглянув на чемодан Кречмара. “Пожалуйста, я прошу тебя”, — взмолился он. “Вообще, нам придется еще о многом поговорить, я не намерена выслушивать грубости от твоих идиотов родственников”, — продолжала она, расхаживая по комнате в красном шелковом халатике, дымя папиросой. Темные волосы налезали на лоб, это придавало ей нечто цыганское.

После обеда она поехала покупать граммофон — почему граммофон, почему именно в этот день? Разбитый, с сильной головной болью, Кречмар остался лежать на кушетке в безобразной гостиной и думал: “Вот случилось что-то неслыханное, а я в конце концов довольно спокоен. У Аннелизы обморок длился двадцать минут, и потом она кричала — вероятно, это было невыносимо слушать, — а я спокоен... Развестись я с ней не могу, потому что она все-таки моя жена, и нет у меня никакого внутреннего права на развод, — я Аннелизу люблю, я, конечно, застрелюсь, если она умрет из-за меня. Интересно, как объяснили Ирме переезд на квартиру Макса, спешку, бестолочь. Как противно Фрида говорила об этом: “И она кричала, и она кричала”, — с ужасным ударением на “и”. Странно, Аннелиза никогда в жизни не повышала голоса”.

На следующий день, пользуясь отсутствием Магды, которая отправилась закупить пластинок, Кречмар составил жене длинное письмо, в котором совершенно искренне, но слишком красноречиво объяснял, что любит ее как прежде — несмотря на увлечение, “разом испепелившее наше семейное счастье”. Он плакал, и прислушивался, не идет ли Магда, и продолжал писать, плача и шепча. Он просил прощения у жены, просил беречь дочь, не давать ей возненавидеть недостойного, но несчастного отца, — однако из

письма не было видно, готов ли он от увлечения отказаться, коли жена простит. Ответа он не получил.

Тогда он понял, что, если не хочет мучиться, должен оподлиться безусловно, безоговорочно и вымарать образ семьи из памяти, и всецело отдаться чудовищной, безобразной, почти болезненной страсти, которую возбуждала в нем веселая красота Магды. Она же была всегда готова разделить с ним любовную падучую, сколько угодно, в любое время дня и ночи, это только освежало ее, она была резва, беспечна, — благо врач еще в прошлом году объяснил ей, что забеременеть она неспособна. Кречмар научил ее каждое утро принимать ванну с мылом, вместо того, чтобы только мыть шею и руки, как она делала раньше. Ногти у нее были теперь всегда чистые, и не только на руках, но и на ногах отливали земляничным лаком. Она сбрила темно-русые волоски под мышками и больно порезалась жилетным клинком. Вид крови в ней вызывал тошноту и головокружение. Кречмар бросился в аптеку, принес желтой ваты, йоду, еще чего-то.

Он открывал в ней все новые очарования, а то, что в другой показалось бы ему вульгарным лукавством или грубым бесстыдством, в Магде — только трогало и смешило его. Еще полудетское очарование ее тела и откровенное сластолюбие, — медленное погасание этих продолговатых глаз, словно постепенно темнеющие слои света в театральном зале, доводили его до такого безумия, что он вконец утратил всякое телесное приличие — ту сдержанность, которой отличались его классические объятия со стыдливой женой.

Он почти не выходил из дому, боясь встретить знакомых, и отпускал от себя Магду скрепя сердце, и то лишь утром — на охоту за чулками и шелковым бельем. Его удивляло в ней отсутствие любознательности — она ничего не спрашивала из его прежней жизни, принадлежа к числу людей, которые представляют себе ближнего по известной схеме и схеме этой доверяют вполне. Он старался, иногда, занять ее своим прошлым, говорил о детстве, о матери, которую помнил лишь смутно, и об отце, крутом сангвинике, любившем своих лошадей, своих собак, дубы и пшеницу своего поместья и умершем внезапно — и отчего? — от сочного, тряского смеха, которым разразился в бильярдной, где гость-краснобай, шмякая кулаком в ладонь, выкрикивал сальный анекдот.

“Какой? Расскажи”, — попросила Магда облизнувшись, но он не знал какой.

Он говорил далее о ранней страсти к живописи, о работах своих, о ценных находках, о том, как чистят картину — чесноком и толченой смолой, — как старый лак превращается в пыль, как под

фланелевой тряпкой, смоченной скипидаром, исчезает грубая, черная тень, и вот расцветает баснословная красота — голубые холмы, излучистая восковая тропинка, маленькие пилигримы...

Магду занимало главным образом, сколько стоит такая картина.

Когда же он говорил о войне, о том, как он мучился в окопах, она удивлялась, почему он, ежели богат, не устроился в тылу. “Какая ты смешная! — восклицал Кречмар, целуя ее в шею. — Господи, какая ты смешная!..”

Магде бывало скучно по вечерам — ее влекли кинематографы, нарядные кабаки, негритянская музыка. “Все будет, все будет, — говорил он. — Ты только потерпи, дай мне отдышаться, сообразить, обвыкнуться. У меня всякие планы... Мы еще махнем куда-нибудь, вот ты увидишь...”

Он оглядывал гостиную, и его поражало, что он, не терпевший безвкусицы в вещах, полюбил это нагромождение ужасов, эти модные мелочи обстановки, которыми без разбора пленялась Магда. На все падал отсвет его страсти и все оживлял.

“Мы очень мило устроились, правда, Магда?”

Она снисходительно соглашалась. Она знала, что все это только временно. Воспоминание о богатой квартире Кречмара было неотразимо, но, конечно, не следовало спешить.

Как-то, в начале июня, Магда пешком шла от модистки и уже приближалась к дому, когда кто-то сзади схватил ее за руку, повыше локтя. Она обернулась. Это был ее брат Отто. Он неприятно ухмылялся. Поодаль, тоже ухмыляясь, но сдержаннее, стояли двое его товарищей.

“Здравствуй, дитя, — сказал он. — Нехорошо забывать родных”.

“Оставь мой локоть”, — тихо произнесла Магда, опустив ресницы.

Отто подбоченился. “Как ты мило одета, — проговорил он, оглядывая ее с головы до ног, — прямо, можно сказать, дамочка”.

Магда повернулась и пошла. Но он опять схватил ее и сделал ей больно. “Ау-уа” — тихо вскрикнула она, как бывало в детстве.

“Ну-ка ты, — сказал Отто. — Я уже третий день наблюдаю за тобой. Знаю, как ты живешь. Однако мы лучше отойдем...”

“Пусти, пусти”, — прошептала Магда, стараясь отлепить его пальцы. Кое-кто из прохожих остановился и смотрел, мечтая о скандале. Дом был совсем близко. Кречмар мог случайно выглянуть в окно. Это было бы плохо.

Она тронулась, поддаваясь его нажиму. Отто повел ее за угол. Подошли, осклабясь и болтая руками, остальные двое, — Каспар и Курт. “Что тебе нужно от меня?” — спросила Магда, с ненавистью глядя на мятый картуз брата, на папиросу за ухом, на голую бычью шею. Он мотнул головой. “Пойдем вот туда — в кабак”.

“Отвяжись!” — крикнула она. Те двое подступили совсем близко и, урча, затеснили ее. Ей сделалось страшно.

Они вчетвером вошли в темный трактир. У стойки несколько людей хрипло и громко о чем-то рассуждали. “Сядем сюда, в угол”, — сказал Отто.

Сели. Магда живо вспомнила, как она с братом и вот с этими загорелыми молодцами ездила за город купаться. Они учили ее плавать и цапали за голые ляжки. У одного из них, у Каспара, была на кисти и на груди бюрюзовая татуировка. Валялись на берегу, осыпая друг друга жирным бархатным песком, они хлопали ее по мокрому купальному костюму, как только она ложилась ничком. Все это было так чудесно, так весело. Особенно когда мускулистый, светловолосый Каспар выбегал на берег, тряся руками, будто с холоду, и приговаривая: “Вода мокрая, мокрая”. Плавая, держа рот под поверхностью, он умел издавать громкие тюленьи звуки. Выйдя из воды, он прежде всего зачесывал волосы назад и осторожно надевал картуз. Помнится, играли в мяч, а потом она легла, и они ее облепили песком, оставив только лицо открытым и камушками выложив крест.

“Вот что, — сказал Отто, когда появились на столе четыре кружки светлого пива. — Ты не должна стыдиться своей семьи только потому, что у тебя есть богатый друг. Напротив, ты должна о семье заботиться”. Он отпил пива, отпили и его товарищи. Они оба глядели на Магду насмешливо и недружелюбно.

“Ты все это говоришь наобум, — с достоинством произнесла Магда. — Дело обстоит иначе, чем ты думаешь. Мы жених и невеста, вот что”.

Все трое разразились хохотом. Магда почувствовала к ним такую неприязнь, что отвела глаза и стала щелкать затвором сумки. Отто взял сумку из ее руки, открыл, нашел там только пудреницу, ключи и три марки с полтиной. Деньги он вынул, заметив, что они пойдут на уплату за пиво. После чего он с поклоном положил сумку перед ней на стол.

Заказали еще пива. Магда тоже глотнула, через силу — она пива не терпела, — но иначе они бы и это выпили. “Мне можно теперь идти?” — спросила она, приглаживая акрошкеры.

“Как? Разве не приятно посидеть в кабачке с братом и друзьями? — удивился Отто. — Ты, Магда, очень изменилась. Но главное — мы еще не поговорили о нашем деле...”

“Ты меня обокрал, и теперь я ухожу”.

Опять все заурчали, как давеча на улице, и опять ей стало страшно.

“О краже не может быть и речи, — злобно сказал Отто. — Это деньги не твои, а деньги, высосанные так или иначе из нашего брата. Ты эти фокусы оставь — насчет кражи. Ты...” Он сдержал

себя и заговорил тише. “Вот что, Магда. Изволь сегодня же взять у твоего друга немного денег, для меня, для семьи. Марок пятьдесят. Поняла?”

“А если я этого не сделаю?” — спросила Магда.

“Тогда будет месть, — ответил Отто спокойно, — О, мы все знаем про тебя... Невеста — скажите пожалуйста!”

Магда вдруг улыбнулась и прошептала, опустив ресницы:

“Хорошо, достану. Теперь все? Я могу идти?”

“Да постой же, постой, куда ты так торопишься? И вообще, знаешь, надо видаться, мы поедем как-нибудь за город, правда? — обратился он к друзьям. — Ведь бывало так славно. Не зазнавайся, Магда”.

Но она уже встала — допивала стоя свое пиво.

“Завтра в полдень на том же углу, — сказал Отто, — а потом завалимся на весь день в Ванзей. Ладно?”

“Ладно”, — сказала Магда с улыбкой и, кивнув, вышла.

Она вернулась домой, и, когда Кречмар, отложив газету, подошел к ней, Магда зашаталась и склонилась, притворяясь, что лишается чувств. Вышло очень удачно. Он испугался, уложил ее на кушетку, принес коньяку. “Что случилось, что случилось?” — спрашивал он, глядя ее по волосам. “Ты меня теперь бросишь”, — простонала Магда. Он переглотнул и вообразил самое страшное: измену. “Что ж? Застрелю”, — сказал он про себя и уже спокойно повторил: “Что случилось, Магда?” “Я обманула тебя”, — сказала она и замолкла. “Смерть”, — подумал Кречмар. “Ужасный обман, Бруно, — продолжала она. — Мой отец — вовсе не художник, а бывший слесарь, теперь швейцар, мать моет лестницу, брат — простой рабочий. У меня было тяжелое, тяжелое детство, меня колотили, меня терзали...”

Кречмар почувствовал невероятное — нежное и сладкое — облегчение, а затем — жалость.

“Нет, не целуй меня, Бруно. Ты должен все знать. Я бежала из дому. Я служила сперва натурщицей. Меня эксплуатировала одна страшная старуха. Затем у меня была несчастная любовь — он был женат, как вот ты, и жена не дала ему развода, и тогда я его бросила, хотя безумно любила. Затем меня преследовал старик банкир, предлагал мне все свое состояние, и тогда пошли грязные сплетни, но, конечно, — вранье, он ничего не добился. Он умер от разрыва сердца. Я начала служить в “Аргусе”. Ты понимаешь, — он обещал меня сделать звездой экрана, а я выбрала честный путь...”

“Счастье мое, счастье”, — бормотал Кречмар.

“Неужели ты не презираешь меня? — спросила она, стараясь улыбнуться сквозь слезы, что было очень трудно, ибо слез-то не было. — Это хорошо, что ты меня не презираешь. Но теперь слушай самое страшное: брат меня выследил, он требует у меня денег,

будет теперь нас шантажировать... Ты понимаешь, когда я увидела его и подумала: мой бедный, доверчивый заяц не знает, какая у меня семья, — тогда, знаешь, тогда мне стало стыдно уже от другого — от того, что я тебе не сказала всей правды, — так стыдно, Бруно...”

Он обнял ее, нежно защекотал, она стала тихо смеяться (как просто удалось оставить брата в дураках).

“Знаешь, — сказал Кречмар, — я теперь боюсь тебя выпускать одну. Как же быть? Ведь не обратиться же в полицию?”

“Нет, только не это”, — необыкновенно решительно воскликнула Магда. Она почему-то боялась полиции и полицейских.

## Х

Утром она вышла в сопровождении Кречмара — надо было купить легких летних вещей, а также мазей против солнечных ожогов: Сольфи, адриатический курорт, намеченный Кречмаром, славился своим сияющим пляжем. Садясь в таксомотор, она заметила брата, стоящего на другой стороне улицы, но Кречмару не показала его.

Появляться с Магдой на улице, переходить с ней из магазина в магазин было для Кречмара сопряжено с неотступной тревогой: он боялся встретить знакомых, он еще не мог привыкнуть к своему положению. Когда они вернулись домой, слезки уже не было; Магда поняла, что брат смертельно обиделся и теперь примет свои меры. Так оно и случилось. Дня за два до отъезда Кречмар сидел и писал деловое письмо, Магда в соседней комнате уже укладывала вещи в новый сундук; он слышал шуршание бумаги и песенку, которую она, с закрытым ртом, без слов, не переставала тихо напевать. “Как все это странно, — думал Кречмар. — Если гадалка предсказала бы мне под Новый год, что через несколько месяцев моя жизнь так круто изменится...” Магда что-то уронила в соседней комнате, песенка оборвалась, потом опять возобновилась. “Ведь пять месяцев назад я был примерным мужем, и Магды просто не существовало в природе вещей. Как это случилось быстро. Другие люди совмещают семейное счастье с легкими удовольствиями, а у меня почему-то все сразу спуталось, и даже теперь я не могу сообразить, когда допущена была первая неосторожность; и вот сейчас я сижу и как будто рассуждаю здраво и ясно, и на самом деле все продолжается этот полет кувырком неизвестно куда...”

Он вздохнул и принялся за письмо. Вдруг — звонок. Из разных дверей выбежали одновременно в прихожую Кречмар, Магда и кухарка. “Бруно, — сказала Магда шепотом, — будь осторожен, я уверена, что это Отто”. “Иди к себе, — ответил Кречмар. — Я уж с ним справлюсь”.

Он открыл дверь. На пороге стоял юноша с грубоватым неумным лицом — и все же очень похожий на Магду. На нем был довольно приличный синий костюм воскресного вида, конец лилового галстука уходил, суживаясь, под рубашку.

“Кого вам нужно?” — спросил Кречмар.

Отто кашлянул и развязно проговорил: “Мне нужно с вами потолковать о моей сестре, я — Магдин брат”.

“Да почему именно со мной?”

“Вы ведь господин...? — вопросительно начал Отто, — господин...?”

“Шиффермюллер”, — подсказал Кречмар с облегчением.

“Ну так вот, господин Шиффермюллер, я вас видел с моей сестрой и подумал, что вам будет любопытно, если я... если мы...”

“Очень любопытно, — только что же вы стоите в дверях? Входите”.

Тот вошел и опять кашлянул.

“Я вот что, господин Шиффермюллер. У меня сестричка молодая и неопытная. Моя мать, господин Шиффермюллер, ночей не спит с тех пор, как наша Магда ушла из дому. Да, господин Шиффермюллер, ведь ей пятнадцать лет — вы не верьте, если она говорит, что больше. Ведь помилуйте, очень нехорошо выходит, господин Шиффермюллер. Что же это такое, сударь, в самом деле, мы — честные, отец — старый солдат, я не знаю, как это можно исправить...”

Отто все больше взвинчивал себя и начинал верить в то, что говорит.

“Не знаю, как быть, — продолжал он возбужденно. — Это не дело, господин Шиффермюллер. Представьте себе, что у вас есть любимая невинная сестра, которую купил и развратил...”

“Послушайте, мой друг, — перебил Кречмар. — Тут какое-то недоразумение. Моя невеста мне рассказывала, что ее семья была только рада от нее отделаться”.

“Ах, сударь, — проговорил Отто, щурясь и качая головой. — Неужто вы хотите меня уверить, что вы на ней женитесь. Ведь где же гарантия, ведь когда на честной девушке женятся, то перво-наперво идут посоветоваться к родителям ее или там к брату, — побольше внимания, поменьше гордости, сударь”.

Кречмар с некоторой опаской смотрел на Отто и думал про себя, что в конце концов тот говорит резон и столько же имеет права печься о Магде, как Макс об Аннелизе; вместе с тем он чувствовал, что Отто лжив и груб, что горячность его неискренна.

“Стоп, стоп, — решительно прервал Кречмар. — Я все это отлично понимаю, но, право же, говорить нам не о чем, все это вас не касается. Уходите, пожалуйста”.

“Ах, вот как,- сказал Отто, насупившись.- Вот как. Ну, хорошо”.

Он помолчал, теребя шляпу и глядя в пол. Пораздумав, он начал с другого конца.

“Вы, может быть, дорого за это заплатите, сударь. Я сестру, может быть, хорошо знаю — всю поднаготную. Это я из братских побуждений называл ее невинной. Но, господин Шиффермюллер,



вы слишком доверчивы, — очень даже странно и смешно, что вы ее зовете невестой. Я уж так и быть вам кое-что о ней порасскажу”.

“Не стоит, — сильно покраснев, ответил Кречмар. — Она сама мне все сказала. Несчастливая девочка, которую семья не могла уберечь. Пожалуйста, уходите”, — и Кречмар приоткрыл дверь.

“Вы пожалеете”, — неловко проговорил Отто.

“Уходите”, — повторил Кречмар.

Тот очень медленно двинулся с места. Кречмар с пустоватой сентиментальностью, свойственной иным зажиточным людям, вдруг представил себе, как, должно быть, бедно и грубо существование этого юноши. Прежде чем закрыть дверь, он быстро вынул бумажник, пощупал большой палец и сунул в руку Отто десять марок.

Дверь захлопнулась. Отто посмотрел на ассигнацию, постоял, потом позвонил.

“Как, вы опять!” — воскликнул Кречмар.

Отто протянул руку с билетом. “Я не желаю подачек, — проворчал он злобно. — Отдайте эти деньги безработному, коли вы не нуждаетесь в них”.

“Да что вы, мой друг, берите”, — сказал Кречмар смущенно.

Отто двинул плечами. “Я не принимаю подачек от бар. У меня есть своя гордость. Я ... “

“Но я просто думал...” — начал Кречмар.

Отто поговорил еще немного, потоптался, хмуро положил деньги в карман и ушел. Социальная потребность была удовлетворена, теперь можно было идти удовлетворить потребности человеческие.

“Маловато, — подумал он, — да уж ладно”.

## XI

С той минуты как Аннелиза прочла Магино письмо, ей все казалось, что длится какой-то несуразный сон, или что она сошла с ума, или что муж умер, а ей лгут, что он изменил. Ей помнилось, что она поцеловала его в лоб перед уходом — в тот далекий уже вечер, — поцеловала в лоб, а потом он сказал: “Нужно будет все-таки завтра об этом спросить доктора. А то она все чешется”. Это были его последние слова — о легкой сыпи, появившейся у дочки на руках и на шее, — и после этого он исчез, а через несколько дней сыпь от цинковой мази прошла, — но не было на свете такой мази, от которой стерлось бы воспоминание: его большой теплый лоб, размашистое движение к двери, поворот головы, “нужно будет все-таки завтра...”

Она так первые дни плакала, что прямо удивлялась, как это слезные железы не сякнут, — и знают ли физиологи, что человек может из своих глаз выпустить столько соленой воды? Тотчас приходило на память, как она с мужем купала трехлетнюю Ирму в ванночке с морской водой на террасе в Аббации, — и вдруг оказывалось, что слез осталось еще сколько угодно — можно наплакать как раз такую ванночку и выкупать ребенка, и потом щелкнуть фотографическим аппаратом, чтобы получился снимок, вот этот снимок в альбоме, посвященном младенчеству Ирмы: терраса, ванночка, блестящий толстый ребеночек и тень мужа — ибо солнце было сзади него, когда он снимал, — длинная тень с расставленными локтями, протянувшаяся по гравиию.

Иногда, в минуты сравнительного покоя, она говорила себе: ну хорошо, меня бросил, но Ирму — как он о ней не подумал? И Аннелиза начинала донимать брата, правильно ли они сделали, что послали Ирму с бонной в Мисдрой, и Макс отвечал, что правильно, и уговаривал ее тоже поехать туда, но она и слышать не хотела. Несмотря на унижение, на гибель, на чувство ужаса и непоправимости, Аннелиза, едва это осознавая, ждала изо дня на день, что откроется дверь и бледный, всхлипывающий, с протянутыми руками войдет муж.

Большую часть дня она проводила в каком-нибудь случайном кресле — иногда даже в прихожей — в любом месте, где ее настигнул туман задумчивости, — и тупо вспоминала ту или иную подробность супружеской жизни, и вот уже ей казалось, что муж изменял ей с самого начала, в течение всех этих девяти лет.

Макс старался занять Аннелизу как умел, приносил ей журналы и новые книги, вспоминал с нею детство, покойных родителей, старшего брата, убитого на войне. Однажды, в жаркий летний день, он повез ее в Тиргартен, там они вышли и долго бродили и с полчаса смотрели на обезьянку, которая, улизнув от гулявшего с ней господина, забралась в самую гущу высокого вяза, откуда хозяин тщетно старался сманить ее вниз, то тихим свистом, то сверканием зеркальца, то желтизной большого банана. “Он не достанет ее, это безнадежно, она никогда не придет”, — сказала наконец Аннелиза и вдруг заплакала. Они пешком возвращались домой, и было так жарко, что Макс снял пиджак, несмотря на то, что был в подтяжках. “Это нехорошо, — сказала со вздохом Аннелиза. — Нужен пояс”. “Но он не держит, — возразил Макс. — У меня живот как-то неправильно вырос”. В это мгновение сестра сильно сжала ему руку. Она смотрела в сторону, на проезжавший таксомотор. Таксомотор затрубил, выпустил вправо красный язык и скрылся за угол.

## XII

В своем черном купальном трико, до раскосости коротком на ляжках и уходившем вглубь чуть выпуклым мыском, когда она, как сейчас, сдвинув вытянутые ноги, лежала навзничь, — в черном трико с белым резиновым пояском и клинообразными вырезами на боках, до самой талии, — Магда подозрительной стройностью и соразмерностью членов отличалась от двух девочек-подростков, дочек красного англичанина в полотняной шляпе, которые валялись поодаль. Кречмар, облокотясь на песок, не отрываясь, смотрел на нее, на ее руки и ноги, уже сплошь покрытые гладким солнечным лаком, на румяно-золотое лицо с облупившимся носом и только что покрашенным ртом. Откиннутые со лба волосы отливали каштановым блеском, раковина маленького уха мерцала песчинками, в темноте трико сквозили еще более темные сосцы — и весь ее туго сидящий костюм с обманчивыми перехватцами и просветами, с тонкими бридочками на лоснящихся плечах, держался, как говорится, на честном слове, перережешь вот тут или тут, и все разойдется.

Кречмар высыпал из ладони горсть легкого песка на ее втянутый живот. Магда открыла глаза, замигала от солнца, улыбнулась, косясь на любовника, и зажмурилась снова.

Погодя она приподнялась и замерла в сидячем положении, обхватив колени. Теперь он видел ее голую спину, перелив позвонков, блеск приставших песчинок. “Постой, я смахну”, — сказал он. Кожа у нее была горячая, шелковая. “Боже, — проговорила Магда. — Какое голубое море!”

Оно было действительно очень голубое. Когда поднималась волна, то на ее блестящей крутизне кобальтовыми тенями отражались силуэты купальщиков. Мужчина в оранжевом халате стоял у самой воды и протирал очки. Откуда ни возьмись прилетел большой, разноцветный, как арлекин, мяч, прыгнул с легким звоном, и Магда, мгновенно вытянувшись, поймала его и встала и бросила его кому-то. Теперь Кречмар видел ее, окруженную солнечной пестротой пляжа, которая, однако, была сейчас для него мутна, настолько пристально он сосредоточил взгляд на Магде. Легкая, ловкая, с темной прядью вдоль уха, с вытянутой после броска рукою в сверкающей браслетке, Магда виделась ему как некая восхитительная заставка, возглавляющая всю его жизнь.

Она близилась, он лежал ничком и наблюдал, как передвигаются ее маленькие ступни. Магда нагнулась над ним, и весело крякнув, игривым берлинским жестомхватила его по хорошо набитым трусикам.

“Пойдем в воду!” — крикнула она и побежала вперед, ступая на пальцы и слегка припадая на одну ногу, — и потом, раскинув руки, уже моря воду, замедленным шагом пошла все дальше, дальше, и вот уже начала подливать к коленям кудрявая пена. Она опустилась в воде на четвереньки, попробовала плыть, но захлебнулась и быстро встала, со смехом избегая Кречмара. Ее черный костюм блестел, прилип к телу, посредине живота образовалась лунка. “Ах-ах”, — дышала она, улыбаясь, плюясь и отводя мокрые волосы с глаз. Вдруг, ладонью проехав по поверхности, она окатила Кречмара, и он ответил тем же, и так они долго друг в друга шарахали ослепительной водой и громко кричали, и пожилая англичанка под зонтиком лениво сказала, обратившись к мужу: “Look at that German romping about with his daughter. Now don't be lazy, take the kids out for a good swim...”

“Взгляни вон на того немца, что возится с дочерью. Не ленись, пойди поплавай с детьми” (англ.).

### ХІІІ

Потом, в цветистых халатах, они поднимались кремнистой тропой между желтых кустов утесника и дрока. Небольшая, но за крупные деньги нанятая вилла белела, как сахарная, сквозь черноту кипарисов. Через гравий перемахивали синекрылые кузнечики. Магда старалась их поймать в руку. Присев на корточки, она осторожно приближала пальцы к кобылке, но углами поднятые лапки вдруг вздрагивали, и, выпустив веерные крылья, насекомое перелетало на три сажени дальше или терялось среди чертополоха запущенного садика.

В прохладной комнате с решетчатыми отражениями жалюзи на терракотовом полу Магда, как змея, высвобождалась из темной чешуи купального костюма и ходила по комнате в одних туфлях на высоких каблуках, и солнечные полосы от жалюзи проходили по ее телу.

Вечерами были танцы в казино. Море принимало зеркально-лиловый оттенок, и появлялся в направлении к Рагузе уже освещенный пароход. Кречмар старательно с ней танцевал, ее гладко причесанная голова едва доходила до его плеча.

Очень скоро по приезде возникли новые знакомые, — итальянцы, англичане, австрийцы, — Кречмар сразу стал чувствовать гнетущую унижительную ревность, наблюдая за тем, как она тесно танцует с другим, и зная, что у нее под тонким платьем ровно ничего не надето, даже подвязок: замечательный загар заменял ей чулки. Она поднимала глаза к кавалеру и сдержанно улыбалась. Иногда Кречмар терял ее из виду и тогда вставал и, стуча папиросой о крышку портсигара, шел наугад, попадал в какую-то залу, где играли в карты, на террасу, потом в бильярдную и уже вне себя, уже уверенный, что она ему где-то изменяет, возвращался сквозь человеческий лабиринт к своему столику, и вдруг она появлялась и садилась возле него в своем нарядном переливчатом платье, которое не делало ее старше, и он, умолчав о своих опасениях, судорожно гладил ее под столом по голым коленкам, стукавшимся друг о дружку, когда она, слегка откинув стан, хохотала над смешными замечаниями австрийца.

К чести Магды следует сказать, что она прилагала все усилия, чтобы оставаться Кречмару совершенно и безусловно верной. Вместе с тем, как бы часто и основательно он ее ни ласкал, Магда уже

давно чувствовала какой-то недочет, какую-то неполноту ощущений, и это нервило ее, и она вспоминала того, первого, от малейшего прикосновения которого все в ней разгоралось и вздрагивало. К несчастью, молодой австриец, лучший танцор в Сольфи, был чем-то похож на первого ее возлюбленного — сходство, неуловимое для глаза, что-то в сухом прикосновении его большой ладони, в пристальном, слегка насмешливом взгляде, в манере раздувать ноздри. Однажды между двумя танцами она оказалась с ним в темном углу сада, и была та очень банальная, очень человеческая смесь далекой музыки и лунных лучей, которая так действует на всякую душу. Чешуйчатое сияние играло посредине моря, и тени олеандров шевелились на странной белизне ближней стены. “Ах, нет”, — сказала Магда, чувствуя, как губы молчаливого человека, обнявшего ее, гуляют по шее, по щеке, а горячие, умные руки забираются под бальное платье, надетое прямо на тело. “Ах, нет”, — повторила она, но тут же закинула голову, жадно отвечая на его поцелуй, и он при этом так пронырливо ее ласкал, что она почувяла приближение еще большего удовольствия, — однако вовремя вырвалась и побежала по галерее к далекой, освещенной двери.

Этого больше не повторилось. Магда, вкусив жизни, которую ей мог дать Кречмар, жизни, полной роскоши первоклассных фильм, их бриллиантового солнца и пальмового ветерка, — так боялась все это мигом утратить, что не смела рисковать и даже как будто лишилась на время главного, быть может, свойства своего — самоуверенности. Самоуверенность, впрочем, сразу вернулась к ней, как только они осенью оказались опять в Берлине. “Да, это, конечно, превосходно, — сухо сказала она, окидывая взглядом отличный номер в отличной гостинице. — Но ты понимаешь, Бруно, что это не может так продолжаться”.

Кречмар поспешил ответить, что уже принял меры к снятию квартиры.

“Что, он меня дурой, что ли, считает,” — подумала она с чувством сильнейшей к нему неприязни. “Бруно, — проговорила она тихо. — Ты не понимаешь...” Она глубоко вздохнула, потом села и закрыла лицо руками.

“Ты стыдишься меня”, — сказала она, глядя сквозь пальцы на Кречмара.

Он хотел обнять ее. “Не тронь! — крикнула она отскочив. — Я не желаю прозябать с тобой на задворках и смотреть целый день, как ты боишься выходить со мной на улицу. Нет, не смей меня трогать... Я все отлично чувствую. Если ты меня стыдишься, можешь меня бросить и вернуться к своей Лисхен, пожалуйста, пожалуйста...”

“Магда, перестань”, — беспомощно бормотал Кречмар.

Она бросилась на диван. Ей удалось зарыдать. Кречмар, опустившись на колени, осторожно касался ее плеча, которым она дергала всякий раз, как он приближал пальцы. “Чего же ты хочешь? — спросил он. — А, Магда?”

“Я хочу жить открыто, у тебя, у тебя, — произнесла она захлебываясь. — На твоей собственной квартире — и видеть людей, жить вволю...”

“Хорошо”, — сказал он, встав с колен.

“А через год ты на мне женишься, — подумала про себя Магда, машинально продолжая всхлипывать. — Женишься, если, конечно, я к тому времени не буду уже в Холливуде — тогда я тебя к черту пошлю”.

“Умоляю тебя больше не плакать! — воскликнул Кречмар. — А то я сам зареву”.

Магда села и жалобно улыбнулась. Слезы на редкость красили ее. Лицо пылало, мокрые глаза лучились, на щеке дрожала чудесная грушевидная слеза.



## XIV

Точно так же, как он теперь никогда не говорил ей об искусстве, в котором Магда не понимала ни аза, Кречмар не открыл ей мучительных чувств, которые ему довелось испытать в первые дни жизни с ней в комнатах, где он провел с женой десять лет. Всюду были вещи, напоминавшие ему Аннелизу, ее подарки ему, его подарки ей. В глазах у Фриды он прочел хмурое осуждение, а через неделю, чем-то новой госпоже не потрафив, она презрительно выслушала Магдину крикливую брань и тотчас съехала. Спальня и детская укоризненно, трогательно и чисто глядели в глаза Кречмару, особенно спальня, ибо из детской Магда живо сделала голую комнату для пинг-понга. Но спальня... В первую ночь там Кречмару все казалось, что он чует легкий запах жениного одеколona, и это втайне смущало и связывало его, и Магда в ту ночь издевалась над его неожиданной расслабленностью.

О, как был невыносим первый телефонный звонок, звонил старый знакомый, спрашивал, весело ли было в Италии, хорошо ли поживает Аннелиза, не склонна ли она пойти в среду на премьеру с его женой? “Мы временно живем отдельно”, — с трудом проговорил Кречмар (“временно...” насмешливо подумала Магда, осматривая в зеркале свою начавшую отгорать спину).

Ему доставляло невеселое развлечение наблюдать, как постепенно из вопросов знакомых исчезло упоминание о жене. Кое-кому он намекнул, что у него невеста; невестой он, впрочем, никогда не называл Магду в лицо. Слух о перемене в его жизни распространился очень быстро — и опять было ему интересно следить, как иные переставали бывать, иные, напротив, были чересчур любезны с ним и с Магдой, а некоторые старались сделать вид, точно ничего не случилось. Были, наконец, и такие, которые по-прежнему радовались видеть его, но как-то так выходило, что бывали они у него неизменно без своих жен, ставших до странности болезненными.

Он скоро освоился с присутствием Магды в этих полных воспоминаний комнатах, и это происходило оттого, что стоило ей переменить извечное положение любого незаметнейшего предмета, как данная комната сразу лишалась знакомой души, воспоминание испарялось навсегда. И к зиме прошлое вымерло вовсе в этих

двенадцати комнатах, — и квартира была, может быть, очень хороша, но уже ничего общего не имела с той, в которой он жил с Аннелизой.

Однажды, когда в поздний час после бала он Магду купал (так водилось у них), она, сидя в надушенной ванне и поднимая на кончике ноги набухшую губку, спросила, не думает ли он, что из нее вышла бы фильмовая актриса. Он засмеялся, ничего уже не соображая от предчувствия близкого наслаждения, сказал: “Конечно, еще бы”, — и Магда наконец вылезла, он, торопясь, завернул ее в мохнатую простыню, растер и понес в спальню.

Через несколько дней она опять вернулась к этой теме, причем выбрала минуту, когда у Кречмара ясней работала голова. Он порадовался ее любви к кинематографу и, думая ее заинтересовать, стал развивать перед ней некоторые излюбленные свои теории о фильме немой и о фильме говорунье. “Как снимаются?” — спросила она, перебив его на полуслове. Он предложил как-нибудь повести в ателье, все показать, все объяснить. С этого и началось.

“Что я делаю, стоп, стоп”, — как-то сказал он себе, вспомнив, что накануне обещал финансировать фильму, затеянную режиссером средней руки, при условии, что Магде дана будет вторая женская роль, роль покинутой невесты. “Нехорошо, — продолжал он мысленно. — Там всякие матовые актеры, всякое женолюбивое хамье, и выйдет глупо, если я буду ходить за ней по пятам. А с другой стороны, ей необходима какая-нибудь забава, и меньше будет шатаний по кабакам, если ей придется встать спозаранку”.

Думать было поздно — уже договор был заключен, — и скоро начались репетиции. Магда первое время возвращалась крайне злой и раздраженной, жаловалась, что ее заставляют повторять одно и то же движение сто раз, что режиссер на нее орет, что она слепнет от света огромных ламп. Ее утешало, что исполнительница главной роли, Дорианна Каренина (та самая, которая год тому назад была написана с Чипи в руках), относится к ней очаровательно, хвалит ее, предсказывает чудеса (“дурной знак”, — подумал Кречмар).

Она потребовала, чтобы он не присутствовал на съемках, это, мол, стесняет ее, да и сюрприза не выйдет, если все будет известно заранее. Зато дома он не раз подсматривал, чрезвычайно умиляясь, как она перед трюмо принимает томно-трагические позы. Заметив его, она топала ногой, и он клялся, что ничего не видел. Он отвозил ее в ателье, потом за ней заезжал, однажды ему сказали, что это продолжится еще два часа, и он отправился погулять и невзначай попал в район, где жил Макс, внезапно ему страстно захотелось увидеть издали дочку — в это время она возвращалась из школы. Ему вдруг показалось, что вон там она идет с подругами, он почувствовал страх и быстро ушел.

В этот день Магда вышла из ателье розовая, смеющаяся; съемки подходили к концу, и нынче ей не было сделано ни одного замечания, и она играла, как еще никогда. “Знаешь что? — сказал Кречмар. — Я Дорианну приглашаю на ужин. Да, большой ужин, интересные гости. Сегодня утром мне звонил один известный художник, вернее, знаешь, карикатурист, который, знаешь, делает карикатуры. Это он выдумал Чипи, которую ты так любишь. Он только что приехал из Америки, и, говорят, он очень, очень занятый. Я и его пригласил”.

“Только я буду сидеть рядом с тобой, — сказала Магда, — а то прошлый раз...”

“Хорошо, но помни, мое сокровище, я не хочу, чтобы все знали, что ты у меня живешь”.

“Ах, это все знают”, — сказала Магда и вдруг нахмурилась.

“Ты пойми, — продолжал Кречмар, — это ведь тебе неловко, а не мне. Мне-то, конечно, все равно, я условностей не люблю, так что ты, Магдочка, опять, как прошлый раз, сделай, пожалуйста, для себя же”.

“Но это глупо... И главное, вообще эти неприятности можно было бы избежать”.

“То есть как — избежать?”

“Если ты не понимаешь...” — начала она (“когда же, собственно, он наконец заговорит о разводе?”)

“Будь благоразумна, — сказал Кречмар примирительно. — Ты подумай, я делаю все, что ты хочешь, — вот теперь с этой фильмой, ну, Магда, ну, моя дорогая...”

## XV

Все было как следует: на японском подносе в прихожей лежало некоторое число записок: доктор Ламперт — Марго Денис, Роберт Горн — Магда Петерс, фон-Коровин — Ольга Вальдгейм и т. д. Недавно поступивший буфетчиком рослый пожилой мужчина с лицом английского лорда (так, по крайней мере, находила Магда, иногда останавливавшая на нем взгляд, не лишенный легкой задумчивости) величаво встречал гостей. Через каждые несколько минут раздавался звонок. В угловой гостиной было уже пять человек гостей, не считая Магды. Вот явился Коровин — “фон”-Коровин. Он был худощав, носил монокль и говорил по-немецки превосходно. Опять заминка — и явился писатель Брюк, толстый, румяный человек в потрепанном смокинге, с женою, стареющей, хорошо сложенной дамой, в свое время плававшей в стеклянном бассейне среди дрессированных тюленей. Разговор в гостиной был уже довольно живой. Ольга Вальдгейм, полногрудая певица с абрикосовыми волосами, сладкозвучно и забавно рассказывала о своих ангорских кошках, которых у нее было полдюжины. Кречмар стоял подбоченясь и, через белый бобрик старого Ламперта (врача и меломана), посматривал на Магду: черное с тюлем платье очень ей шло, на груди был большой бархатно-оранжевый цветок, она сдержанно и туманно улыбалась, и в глазах у нее было особое ланье выражение — признак, что она ни слова не понимает из того, что ей говорит Ламперт о музыке Гиндемита. Вдруг Кречмар заметил, что она жарко покраснела и встала. “Боже мой, какая глупенькая... Зачем так вскакивать”. Входило сразу несколько человек: Дорианна Каренина, Горн, актер Штаудингер, двое молодых писателей... Дорианна обняла Магду, у которой замечательно блестели глаза, как бывало во время плача. “Какая глупенькая, — подумал он опять, — так преклоняться перед этой бездарной кобылой”. Дорианна, впрочем, была прекрасна, она славилась своими плечами, джиокондовой улыбкой и хриплым голосом.

Кречмар шагнул к Горну, который, по-видимому, не зная, кто здесь хозяин, потирал руки, как будто их намыливал. “Я очень рад вас видеть у себя, — сказал Кречмар. — Знаете, я вас представлял совсем не таким, я представлял вас почему-то полным и в роговых очках. Господа, это создатель Чипи. Пожаловал к нам из Америки”. Горн продолжал намыливать ладони, стоял и делал маленькие

кивки. “Садитесь, — сказал Кречмар. — Вы, говорят, к нам в Берлин ненадолго?” “Как это было немило, — хриплым басом сказала Дорианна Каренина, — что вы не позволили мне появляться на людях с моей любимой игрушкой!” “То-то я всю смотрю: знакомое лицо”, — ответил Горн, берясь за стул рядом с Магдой.

Взгляд Кречмара опять вернулся к ней. Она как-то по-детски наклонилась к соседке — художнице Марго Денис — и, странно улыбаясь, со слезами на глазах, необычайно быстро говорила что-то. Он сверху видел ее маленькое пурпурное ухо, жилку на шее, нежную раздвоенную тень груди. “Боже мой, что она говорит!” Лихорадочно и торопливо, точно желая кого-то заговорить, Магда несла совершенную околесину и все время прижимала ладонь к пылающей щеке. “ Мужская прислуга меньше ворует, — лепетала она. — Конечно, картину нельзя унести. Но все-таки... Я прежде очень любила картины со всадниками, но когда видишь слишком много картин...”

“Фрейлейн Петерс, — с мягкой улыбкой обратился к ней Кречмар, — я хочу вам представить создателя знаменитого зверька”.

Магда судорожно обернулась и сказала: “Ах, здравствуйте!” (к чему эти ахи, ведь об этом не раз говорилось...) Горн поклонился, сел и спокойно обратился к Кречмару: “Я читал вашу превосходную статью о Себастиано дель Пиомбо. Вы напрасно только не привели его сонетов, — они прескверные, — но как раз это и пикантно”.

Магда вскочила и быстро, чуть ли не вприпрыжку, пошла навстречу последней гостье, высокой и высохшей даме, похожей на общипанную орлицу. Магда с ней ездила в манеже.

Стул ее оказался пустым, на него пересела чернобровая, армянского типа Марго Денис и обратилась к Горну: “Я вам ничего не скажу о Чипи — Чипи, должно быть, набил вам оскомину, я это очень хорошо понимаю. А вот что — как вы оцениваете работы Кумминга, я имею в виду его последнюю серию, виселицы и фабрики, знаете?”

Раскрылись двери в столовую. Мужчины стали глазами искать своих дам. Горн немножко отстал и озирался. Кречмар, уже взяв под руку Дорианну, тоже посмотрел, ища Магду. Она мелькнула далеко впереди, среди плывущих в столовую пар. “Нынче она не в ударе”, — подумал Кречмар и передал свою даму Горну.

Уже за омаром разговор в том конце стола, где сидели Дорианна, Горн, Магда, Кречмар, Марго Денис, сделался громким, но каким-то разнобоким. Магда сразу выпила немало белого вина и теперь сидела очень прямо, сияющими глазами глядя прямо перед собой. Горн, не обращая внимания ни на нее, ни на Дорианну, имя которой его раздражало, спорил наискосок через стол с писателем Брюком о приемах художественной изобразительности. Он говорил: “Беллетрист толкует, например, об Индии, где вот я никогда

не бывал, и только от него и слышно, что о баядерках, охоте на тигров, факирах, бетеле, змеях — все это очень напряженно, очень прямо, сплошная, одним словом, тайна Востока, — но что же получается? Получается то, что никакой Индии я перед собой не вижу, а только чувствую воспаление надкостницы от всех этих восточных сладостей. Иной же беллетрист говорит всего два слова об Индии: я выставил на ночь мокрые сапоги, а утром на них уже вырос голубой лес (плесень, сударыня, — объяснил он Дорианне, которая поднимала одну бровь), — и сразу Индия для меня как живая, — остальное я уж сам воображу”.

“Йоги, — сказала Дорианна, — делают удивительные вещи. Они умеют так дышать, что...”

“Но позвольте, господин Горн, — взволнованно кричал Брюк, написавший только что роман, действие коего протекало на Цейлоне, — нужно же осветить всесторонне, основательно, чтобы всякий читатель понял. Если же я описываю, например, плантацию, то обязан, конечно, подойти с самой важной стороны эксплуатации, жестокости белого колониста. Таинственная, огромная мощь Востока...”

“Вот это и скверно”, — сказал Горн.

Магда коротко рассмеялась, глядя прямо перед собой. Это уже случилось второй или третий раз. Кречмар, обсуждая с Марго Денис последнюю выставку, искоса наблюдал за Магдой, чтобы та не подвыпила. Погода он заметил, что она хлебает из его бокала. “Какая-то она сегодня особенно детская”, — подумал он и под столом коснулся ее колена.

Магда некстати засмеялась и швырнула через стол гвоздикой в старичка Ламперта.

“Я не знаю, господа, как вы относитесь к Зегелькранцу, — сказал Кречмар, проникая в разговор между Горном и Брюком. — Помоему, некоторые его новеллы прекрасны, хотя, правда, он иногда теряется в лабиринтах сложной психологии. Когда-то в молодости я часто встречался с ним, он тогда любил писать при свечах, и вот мне кажется, что его манера...”

После ужина сидели в мягких креслах, до тошноты курили. Магда появлялась то здесь, то там, и за ней покорно следовал один из молодых писателей, и потом она ему папиросой обжигала руку, и он, покрывшись испариной, героически улыбался и просил еще. Горн в углу тихо поссорился с Брюком и, подсев к Кречмару, принялся описывать ему Берлин, да так хорошо, что Кречмар заслушался. “Я думал, что вы с детства не бывали здесь, — сказал он Горну. — Мне очень жаль, что случай нас не свел раньше.”

Наконец прошла по гостям та волна — сначала легкая, журчащая, затем колыхающаяся все шире, — которая в несколько минут очищает дом под возгласы прощальных приветствий. Кречмар

остался совершенно один. Воздух был мутно-сиреневый от сигарного дыма. Он распахнул окно, хлынула черная морозная ночь. Он увидел, как далеко внизу, на тротуаре, друг с другом прощались гости, как отъехал автомобиль Брюка, — он расслышал гор-  
танный голос Магды... “Не очень удачный вечер”, — почему-то подумал Кречмар и, зевая, отошел от окна.

## XVI

“Однако”, — сказал Горн, когда он с Магдой завернул за угол. “Однако”, — повторил он. “Признаюсь, — добавил он через полминуты, — что никак не надеялся так легко тебя разыскать.”

Магда семенила рядом, плотно запахнувшись в котиковое пальто. Горн взял ее под локоть и заставил ее остановиться.

“Я прямо глазам своим не поверил. Как ты попала туда? Посмотри же на меня. Ты, знаешь, стала такой красавицей...”

Магда вдруг всхлипнула и отвернулась. Он потянул ее за рукав — она отвернулась еще круче, они закружились на месте.

“Брось, — сказал он. — Ответь мне что-нибудь! Как тебе удобнее — ко мне или к тебе? Да что ты, право, как немая?”

Она вырвалась и быстро пошла назад, к углу. Горн последовал за ней.

“Какая ты все-таки дрянь”, — проговорил он неопределенно.

Магда ускорила шаг. Он снова настиг ее.

“Пойдем же ко мне, дура, — сказал Горн. — Вот смотри...” — Он вынул бумажник.

Магда ловко и точно ударила его наотмашь по лицу.

“Кольца у тебя колючие”, — проговорил он спокойно и продолжал за ней идти следом, торопливо роясь в бумажнике.

Магда добежала до подъезда, начала отпирать дверь. Горн протянул ей что-то, но вдруг поднял брови.

“Ах, вот оно что”, — проговорил он, с удивлением узнав подъезд, из которого они только что вышли.

Магда, не оглядываясь, толкала дверь. “Возьми же”, — сказал он грубо. И так как она не брала, сунул то, что держал, ей за меховой воротник. Дверь бухнула ему в лицо. Он постоял, взял в кулак нижнюю губу, несколько раз задумчиво ее потянул и погода двинулся прочь.

Магда в темноте добралась до первой площадки, хотела подняться выше, но вдруг ослабела, опустилась на ступеньку и так зарыдала, как, пожалуй, еще не рыдала никогда, — даже тогда, когда он ее покинул. Что-то касалось ее шеи, она закинула руку, как бы что-то стирая с затылка, и нащупала бумажку. Она встала со ступени и, тонко скуля, нащупала кнопку, нажала, ударил свет, — и Магда увидела, что у ней в руке вовсе не американская ассигнация, а листок ватманской бумаги, на котором слегка смазанный



карандашный рисунок — девочка, видная со спины, лежащая боком на постели, в рубашке, задравшейся на ляжке и сползавшей с плеча. Она посмотрела на испод и увидела чернилами написанную дату. Это был день, месяц и год, когда он покинул ее. Недаром он велел ей не оглядываться и легонько шуршал. Неужели прошло с тех пор всего только четырнадцать месяцев?

Тут со стуком потух свет, и Магда, прислонясь к стенке лифта, зарыдала снова. Она плакала о том, что он тогда бросил ее, о том, что она могла бы теперь уже больше года быть с ним счастливой, если б удалось его тогда удержать, — она плакала о том, что, останься он с ней, она избежала бы японцев, старика, Кречмара, — и еще она плакала о том, что давеча, за ужином, Горн трогал ее за правое колено, а Кречмар — за левое, словно справа был рай, а слева — ад.

Она высморкалась, пошарила в темноте, опять нажала кнопку. Свет ее немного успокоил. Она еще раз посмотрела на рисунок, подумала, решила, что, как он ни дорог ей, хранить его опасно, и, разорвав бумажку на клочки, бросила их сквозь решетку в лифтовый колодец, и это почему-то напомнило ей раннее детство. Затем она вынула зеркальце, напудрила кругообразным движением лицо, сильно натянув верхнюю губу, и, суя пудреницу в сумку, быстро побежала наверх.

“Отчего так долго?” — спросил Кречмар. Он уже был в пижаме.

Магда объяснила, что никак не могла отделаться от старичка Ламперта, который непременно хотел ее усадить в автомобиль и подвезти.

“Как у моей красавицы глаза блестят, — бормотал он, дыша на нее вином. — Какая она у меня усталая, пышущая...”

“Нет, сегодня ничего не будет, — тихо возразила Магда. — Оставь, оставь, я сегодня не могу”

“Магда, пожалуйста, — протянул Кречмар. — Я умоляю тебя, я так сейчас мечтал — вот ты придешь. Я так люблю, когда ты немножко пьяная...”

“Там будет видно. Сперва я хочу кое о чем тебя, Бруно, спросить. Скажи, ты уже начал хлопотать о разводе?”

“О разводе?” — повторил он глуповато.

“Я иногда не понимаю тебя, Бруно. Ведь нужно это все как-то оформить. Или ты, может быть, думаешь через некоторое время бросить меня и вернуться к Лисхен?”

“Бросить тебя?”

“Что ты за мной, идиот, все повторяешь? Нет, пожалуйста, прежде чем лезть ко мне, объясни толком”.

“Хорошо, хорошо, — сказал он. — Я в понедельник поговорю с моим поверенным”.

“Наверное? Ты обещаешь?”

Он кивнул и жадно обнял ее. Магда, стиснув челюсти, честно попробовала покориться, но, помимо воли, вдруг начала похихатывать, будто от щекотки, и это перешло в истерический припадок. “Ты же видишь, я сегодня не могу, я устала”, — вскрикивала она и застучала зубами о край стакана, который Кречмар испуганно ей совал.

## XVII

Роберт Горн был в довольно странном положении. Талантливейший карикатурист, создатель модного зверька, он года два-три тому назад разбогател чрезвычайно, а ныне, исподволь и неуклонно, возвращался если не к нищете, то во всяком случае к заработкам очень посредственным. Таланта своего он отнюдь не утратил — более того, он рисовал тоньше и тверже, чем прежде, — но что-то неуловимое случилось в отношении к нему со стороны публики — в Америке и в Англии Чипи надоела, приелась, уступила место другой твари, созданию удачливого коллеги. Эти зверьки, куклы — сущие эфемеры. Кто помнит теперь черного, как сажа, голливога в вороном ореоле дыбом стоящих волос, с пуговицами от портов вместо глаз и красным байковым ртищем?

Если, вообще говоря, дар Горна только укрепился, то по отношению к Чипи он несомненно иссяк. Последние его портреты морской свинки были слабы. Он почувствовал это и решил Чипи похоронить. Заключительный рисунок изображал лунную ночь, могилку и надгробный камень с короткой эпитафией. Кое-кто из иностранных издателей, еще не почуввавших обреченности Чипи, встревожился, просил его непременно продолжать. Но он теперь испытывает непреодолимое отвращение к своему детищу. Чипи, ненадежная Чипи, успела заслонить все другие его работы, и это он ей не мог простить.

Деньги, шедшие к нему самотеком, так же от него и уходили. Будучи человеком азартным и большим мастером по части блефа, он из всех карточных игр ставил выше всего покер и в покер мог играть двадцать четыре часа подряд, а то и дольше. Ему, изоциренному сновидцу (ибо видеть сны — тоже искусство), чаще всего снилось следующее: он собирает в пачечку сданные ему пять карт (что за лоснистая, ярко-красная у них рубашка), смотрит первую — шут в колпаке с бубенчиками, волшебный джокер; затем осторожным и легким давлением большого пальца обнажает край, только край, следующей — в уголку буква “А” и малиновое сердечко; затем край следующей, опять “А” и черный клеверный листик (брелан обеспечен); затем — та же буква и малиновый ромбик (однако, однако), в пятый раз, наконец, выдвигается карта напором пальца — Боже мой! туз пик... Это было волшебное мгновение. Он

поднимал голову, начинались крупные ставки, он спокойно выпихивал на середину стола холодную кучу разноцветных фишек и с покерным, невозмутимым лицом просыпался.

Так он проснулся зимним утром после ужина у Кречмара. Первая мысль его была о Магде, вторая: нужны деньги. Состояние его души было как раз обратным тому, какое было у него при отъезде из Америки. Тогда на первом месте было желание подальше оставить за собой неоплаченные, неоплатимые долги; на втором же — мысль, что удастся, быть может, разыскать берлинскую девчонку, встреченную во время короткого пребывания на родине.

Любовные свои приключения Горн вспоминал без неги. За эти пятнадцать лет, то есть с тех пор, как он, юношей, накануне войны (очень удачно избегнутой) прибыл из Гамбурга в Америку, за эти пятнадцать лет Горн ни в чем не отказывал своему женолюбивому нраву, но как-то так выходило, что единственным прекрасным и чистым воспоминанием оказывалась Магда, — что-то было такое милое и простенькое в ней, за этот последний год вспоминал он ее очень часто и с чувствительной грустью, которой до тех пор он был чужд, посматривал на сохраненный им быстрый карандашный эскиз. Это было даже странно, ибо трудно себе представить более холодного, глумливого и безнравственного человека, чем этот талантливый карикатурист. Начал он с того, что в Гамбурге беспечно оставил нищую, полоумную мать, которая на другой же день после его бегства в Америку упала в пролет лестницы и убилась насмерть. Точно так же, как он в детстве обливал керосином и поджигал живых мышей, которые, горя, еще бегали как метеоры, Горн и в зрелые годы постоянно добывал пищу для удовлетворения своего любопытства — да, это было только любопытство, остроумные забавы, рисунки на полях, комментарии к его искусству. Ему нравилось помогать жизни окарикатуриться, — спокойно наблюдать, например, как жеманная женщина, лежа в постели и томно улыбаясь спросонья, доверчиво и благородно поедает пахучий паштет, который он ей принес, — паштет, только что составленный им же из мерзейших дворовых отбросов. Войдя же в лавку восточных тканей, он незаметно бросал тлеющий окурок на сложенный в углу шелковый товар и, одним глазом глядя на старика еврея, с улыбкой нежности и надежды разворачивающего перед ним за шалью шаль, другим наблюдал, как в углу лавки язва окурка успела проесть дорогой шелк. Этот контраст и был для него сущностью карикатуры. Очень забавен, конечно, анекдотический ученик, который, чтобы остановить и этим спасти великого мастера, обливает из ведра только что оконченную фреску, заметив, что мастер, щурясь и пятясь с кистью в руке, сейчас дойдет до конца площадки и рухнет с лесов в пропасть храма, — но насколько смешнее спокойно дать великому мастеру вдохновенно допятиться... Самые смешные

рисунки в журналах именно и основаны на этой тонкой жестокости, с одной стороны, и глуповатой доверчивости — с другой: Горн, бездейственно глядевший, как, скажем, слепой собирается сесть на свежевыкрашенную скамейку, только служил своему искусству.

Все это не относилось к чувствам, возбужденным в нем Магдой. Тут и в художественном смысле живописец в Горне торжествовал над зубоскалом. Он даже стыдился своей нежности к ней и, собственно говоря, бросил-то Магду потому, что боялся слишком к ней привязаться.

Прежде всего следует установить, живет ли она у Кречмара или только ходит к нему ночевать. Горн посмотрел на часы. Полдень. Горн посмотрел в бумажник. Пусто. Горн оделся, вышел из дорожного отдельного номера и пешком направился к Кречмару. Падал мягкий отвесный снег.

Сам Кречмар открыл ему дверь и не сразу узнал вчерашнего гостя в этом убеленном снегом человеке. Но когда тот, вытерев ноги о мат, поднял лицо, Кречмар обрадовался чрезвычайно. Ему вчера не только понравился разговор Горна, острота суждений и резкий поворот всех мыслей, — понравилась ему и наружность Горна — это чернобровое, белое, как рисовая пудра, лицо, впалые щеки, воспаленные губы, копна мягких черных волос — урод уродом, сложенный, впрочем, великолепно и одетый с небрежной американской нарядностью. “Оригинальные черты”, — снова подумал он и с большим удовольствием вспомнил, что Магда, обсуждая только что вчерашний ужин, сказала: “У этого твоего художника отталкивающая морда — вот кого я ни за какие шиши не согласилась бы поцеловать”. Любопытно было и то, что сказала о нем Дорианна.

Горн извинился, что явился незваный, и Кречмар, смеясь, усадил его в кресло. “Должен признаться, — продолжал Горн, — что вы — один из немногих людей в Берлине, с которым мне хочется поближе познакомиться. В Америке мужчины дружатся легче и веселее, чем здесь, — я там привык не стесняться, простите, если я вас шокирую... Но, пожалуйста, — продолжал он, — уберите эту... эту... морскую свинью с дивана, спрячьте, уничтожьте, это единственная вещь в вашем доме, которая для меня неприемлема. Кстати, разрешите мне рассмотреть поближе ваши картины — вон там, кажется, что-то хорошее”.

Кречмар повел его по комнатам; в каждой было какое-нибудь замечательное полотно. Горн, глядя на картину, слегка откидывался, вытянув вдоль живота руки и держа себя за кисть. В течение их прогулки пришлось пройти через коридор. В это мгновение из ванной выскочила в пестром халате Магда. Она побежала в глубь коридора и чуть не потеряла туфлю. “Сюда”, — сказал Кречмар, смущенно посмеиваясь, и Горн последовал за ним в библиотечную.

“Если я не ошибаюсь, — сказал он с улыбкой, — это была фрейлейн Петерс, — она ваша родственница?”

“Чего тут дурака валять, — быстро подумал Кречмар. — Этому остроглазому человеку наплевать на условности”. “Моя любовница”, — ответил он вслух, впервые назвав так Магду в разговоре с посторонним.

Он предложил Горну отобедать, и тот бодро согласился. Магда вышла к столу томная, но спокойная — чувство чего-то потрясающего, невероятного, чувство, с которым она вчера едва справилась, нынче смягчилось и засквозило счастьем. Сидя между двух этих мужчин, она чувствовала себя главной участницей таинственной и страстной фильмовой драмы и старалась вести себя подобающим образом, чуть-чуть улыбаясь, опускала ресницы, нежно клала ладони Кречмару на рукав, прося его передать ей фрукты, и скользким, так называемым “безразличным” взглядом окидывала прежнего своего любовника. “Теперь уж я его не отпущу”, — вдруг подумала она и судорожно повела лопатками.

Горн говорил об Америке, о тихой, старомодной американской провинции, о больших озерах, о любопытном обряде погребения у индейцев. Изредка он поглядывал на Магду, и она, как все женщины, машинально проверяла глазом и даже легким движением пальцев то место своего платья, которое на миг затронул его взгляд. “А мы скоро увидим кое-кого на экране”, — сказал Кречмар подмигнув, и Магда надула свои мягкие розовые губы и слегка хлопнула его по руке. “Вы актриса? — сказал Горн. — Вот как. Где же вы снимаетесь?”

Она объяснила, не глядя на него и испытывая большую гордость от того, что он оказался известным художником, а она — фильмовой дивой, и оба как бы стоят теперь на одном уровне.

Горн ушел сразу после обеда, прикинул мысленно, чем заняться, и отправился в игорный клуб. Через день он позвонил Кречмару, и они вдвоем побывали на выставке картин. Еще через день Горн у него ужинал, а затем как-то забежал ненароком, но Магды не было дома, и ему пришлось удовольствоваться задушевной беседой с Кречмаром. Горн начинал сердиться. Наконец судьба над ним сжалилась. Это случилось на матче хоккея в Спорт-Паласе.

Когда они втроем пробирались к ложе, Кречмар в десяти шагах от себя заметил затылок Макса и косичку дочери. Вышло неожиданно, и глупо, и страшно; он в первое мгновение совершенно потерялся и, неловко повернувшись, сильно толкнул боком Магду. “Полегче!” — сказала она довольно резко.

“Вот что, — проговорил Кречмар, — вы садитесь, закажите что-нибудь, а я должен пойти позвонить по телефону, — совсем вылетело из головы”. “Пожалуйста, не уходи”, — сказала Магда и встала.

“Ах, это необходимо, — продолжал он, сутулясь, стараясь сделать себя меньше и мучительно спрашивая себя: Ирма видит меня или не видит? — Необходимо ...Если меня задержат, не взыщи. Извините, пожалуйста, господин Горн”.

“Я прошу тебя остаться”, — тихо повторила Магда.

Но, не обратив внимания на ее странный взгляд, на румянец, на подергивание губ, он еще больше сгорбился и поспешно протиснулся к выходу.

“Наконец-то”, — торжественно сказал Горн.

Они сидели рядом за чисто накрытым столиком, и внизу, сразу за барьером, ширилась огромная ледяная арена. Играла музыка. Пустынный еще лед отливал маслянисто-сизым блеском.

“Теперь ты понимаешь?” — вдруг спросила Магда, сама едва зная, что спрашивает.

Горн хотел было ответить, но тут вся исполинская зала затрещала рукоплесканьями. Он завладел под столом ее маленькой горячей рукой. Магда почувствовала опять, как тогда, на улице, приступ слез, но руки не отняла.

На лед вылетела женщина в красном, описала изумительный круг и сделала пируэт. Ее большие коньки скользили молниевидно и резали лед с мучительным звуком.

“Ты меня бросил”, — начала Магда.

“Да, но я же вернулся. Не реви. Посмотри, как она пляшет. Ты давно с ним?”

Магда заговорила, но опять поднялся гул; она облокотилась на стол и некоторое время сидела, закрывшись рукой и закусив губу.

“А вот и они”, — задумчиво проговорил Горн.

Переливалось шумное волнение. На лед плавно выехали игроки, сперва шведы, потом немцы. Очень хорош был голкипер в толстом своем свэтере и с огромными кожаными щитами на голених.

“...он собирается с ней разводиться. Ты понимаешь, как ты появился некстати...”

“Какая чушь. Неужели ты думаешь, что он женится на тебе!”

“А ты вот помешай, тогда не женится”.

“Нет, Магда, он этого никогда не сделает”.

“А я тебе говорю, что сделает”.

Они тут же поссорились, но шевелили губами неслышно, так как было кругом шумно — захлебывающийся, радостный человеческий лай. Там, на льду, изогнутые палки подцепляли проворно скользящий пластик, передавали его друг дружке, с размаху били по нему или подкатывали его, — игроки летели во весь опор, то разбегаясь вдруг концентрическими кругами, то соединяясь опять, —

и голкипер, весь собравшись, сжавши так ноги, что щиты сливались в одну поверхность, упруго ездил на месте, выглядывая, куда придется удар.

“...это ужасно, что ты вернулся. Ты же, по сравнению с ним, нищий. Боже мой, теперь я знаю, все будет испорчено”.

“Пустяки, пустяки, мы будем крайне осторожны”.

“Знаешь что, — сказала Магда, — увези меня отсюда. У меня голова трещит от этого гула, я не могу. Он, видно, уже не вернется, а если вернется, черт с ним”.

“Пойдем ко мне, не будь душой. Только на часок”.

“Ты с ума сошел. Я рисковать не намерена. Я обрабатываю его около года, и только теперь мы договорились до развода. Неужели я стану рисковать?”

“Он не женится”, — сказал Горн убежденно.

“Ты меня отвезешь домой или нет?” — спросила она и быстро подумала: “В автомобиле поцелую”.

“Скажи, как ты вынюхала, что у меня нет денег?”

“Ах, это видно по твоим глазам”, — сказала она и прижала к ушам ладони, так как шум поднялся нестерпимый, — забили гол, шведский вратарь лежал на льду, выбитая палка, тихо крутясь, скользила в сторону, словно потерянное весло.

“Не понимаю, зачем ты откладываешь, Магда. Это случится неизбежно — нечего терять золотое время”.

Они вышли из ложи. Магда вдруг покраснела и сдвинула брови. На нее смотрел толстый темноглазый господин — взгляд его выражал отвращение. Рядом с ним сидела девочка и, уставившись в огромный черный бинокль, следила за возобновившейся игрой.

“Обернись, — сказала Магда своему спутнику. — Видишь этого толстяка и девочку, вон там, видишь? Это его шурина и дочка. Понимаю, почему мой трус улизнул, жалко, что я не заметила раньше. Толстяк меня раз выругал девкой. Если б его кто-нибудь избил...”

“А ты еще говоришь о браке, — сказал Горн, идя за ней вниз по лестнице. — Никогда он не женится. Поедем сейчас ко мне, ну на полчаса. Не хочешь? Ах, ладно, ладно. Я просто так. Я тебя отвезу, только помни, что у меня нет мелочи”.



## XVIII

Макс проводил ее взглядом: у добрейшего этого человека чесались руки. Он подивился, кто ее спутник, и где Кречмар, и долго еще поглядывал с опаской по сторонам, боясь вдруг увидеть не только Магду, но и Кречмара. Было большое облегчение, когда кончилась игра и можно было Ирму увезти. “Ничего не скажу Аннелизе”, — решил он, когда приехали домой. Ирма была молчалива — только кивала и улыбалась на вопросы матери.

“Самое удивительное, как они не устают так бегать по льду”, — сказал Макс.

Аннелиза задумчиво взглянула на него, потом обратилась к дочке: “Спать, спать”. “Ах, нет”, — сонно сказала Ирма. “Что ты, полночь. Как же можно!”

“Скажи, Макс, — спросила Аннелиза, когда девочку уложили, — у меня почему-то чувство, что произошло там что-то, мне было так беспокойно дома. Макс, скажи мне?”

Он смутился. После размолвки с мужем у Аннелизы развилась прямо какая-то телепатическая впечатлительность.

“Никаких встреч?” — настаивала она. — “Наверное?”

“Ах, перестань. Откуда ты взяла?”

“Я всегда этого боюсь”, — сказала она тихо.

На другое утро Аннелиза проснулась оттого, что бонна вошла в комнату, держа в руке градусник. “Ирма больна, сударыня, — объявила она с улыбкой. — Вот — тридцать восемь и пять”. “Тридцать восемь и пять”, — повторила Аннелиза, а в мыслях мелькнуло: “Ну вот, недаром я беспокоилась”.

Она выскочила из постели и поспешила в детскую. Ирма лежала навзничь и блестящими глазами глядела в потолок. “Там рыбак и лодка”, — сказала она, показывая движением бровей на потолок, где лучи лампы (было еще очень рано, и шел снег) образовали какие-то узоры. “Горлышко не болит?” — спросила Аннелиза, поправляя одеяло и глядя с беспокойством на остренькое лицо дочери. “Боже мой, какой лоб горячий!” — воскликнула она, откидывая со лба Ирмы легкие, бледные волосы. “И еще тростники”, — тихо проговорила Ирма, глядя вверх.

“Надо позвонить доктору”, — сказала Аннелиза, обратившись к бонне. “Ах, сударыня, нет нужды, — возразила та с неизменной

улыбкой. — я дам ей горячего чаю с лимоном, аспирину, укрою. Все сейчас больны гриппом”.

Аннелиза постучала к Макс, который брился. Так, с намыленными щеками, он и вошел к Ирме. Макс постоянно умудрялся порезаться — даже безопасной бритвой, — и сейчас у него на подбородке расплывалось сквозь пену ярко-красное пятно. “Земляника со сливками”, — тихо и томно произнесла Ирма, когда он нагнулся над ней. “Она бредит!” — испуганно сказал Макс, обернувшись к бонне. “Ах, какое, — сказала та преспокойно. — Это про ваш подбородок”.

Врач, обыкновенно лечивший у них с тех пор, как родилась Ирма, оказался в отъезде, и Аннелиза не обратилась к его заместителю, а вызвала другого доктора, который в свое время бывал у них в гостях и слыл превосходным интернистом. Доктор явился под вечер, сел на край Ирминой постели, и, глядя в угол, стал считать пульс. Ирма рассматривала его белый бобрик, обезьянье ухо, извилистую жилу на виске. “Так-с”, — произнес он, посмотрев на нее поверх очков. Он велел ей сесть. Аннелиза помогла снять рубашку. Ирма была очень беленькая и худенькая. Доктор стал трамбовать ее спину стетоскопом, тяжело дыша и прося ее дышать тоже. “Так-с”, — сказал он опять. Наконец, после еще некоторых манипуляций, он разогнулся, и Аннелиза повела его в кабинет, где он сел писать рецепты. “Да, грипп, — сказал он. — Повсеместно. Вчера даже отменили концерт. Заболели и певица и ее аккомпаниатор”.

На другое утро температура слегка понизилась. Зато Макс был очень красен, поминутно сморкался, однако отказался лечь и даже поехал к себе в контору. Бонна тоже чихала.

Вечером, когда Аннелиза вынула теплую стеклянную трубочку из-под мышки у дочери, она с радостью увидела, что ртуть едва перешла через красную черточку жара. Ирма пощурилась от света и потом повернулась к стенке. В комнате потемнело. Было тепло, уютно и немножко сумбурно. Она вскоре заснула, но проснулась среди ночи от ужасно неприятного сна. Хотелось пить. Ирма нащупала на столике стакан с лимонадом, выпила, чмокая и поглатывая, и поставила обратно, почти без звона. В спальне было как-будто темнее, чем обыкновенно. За стеной надрывно и как-то восторженно храпела бонна. Ирма послушала этот храп, потом стала ждать рокота электрического поезда, который как раз вылезал из-под земли неподалеку от дома. Но рокота все не было. Вероятно, поезда уже не шли. Она лежала с открытыми глазами, и вдруг донесся с улицы знакомый свист на четырех нотах. Так свистел ее отец, когда вечером возвращался домой, — просто предупредил, что сейчас он и сам появится, и можно велеть подавать. Ирма отлично знала, что это сейчас свищет не отец, а странный

человек, который уже недели две, как повадился ходить в гости к даме, живущей наверху, — Ирме поведала об этом дочка швейцара и показала ей язык, когда Ирма резонно заметила, что глупо приходить так поздно. Самое удивительное и таинственное, однако, было то, что он свистел точь-в-точь, как отец, но об этом не следовало распространяться: отец поселился отдельно со своей маленькой подругой — это Ирма узнала из разговора двух знакомых дам, спускавшихся по лестнице. Свист под окном повторился. Ирма подумала: “Кто знает, это может быть все-таки отец, и его никто не впускает, и говорят нарочно, что это чужой”. Она откинула одеяло и на цыпочках подошла к окну. По дороге она толкнула стул, но бонна продолжала трубить и клокотать как ни в чем не бывало. Когда она открыла, пахло чудесным морозным воздухом. На мостовой стоял человек и глядел наверх. Она довольно долго смотрела на него — к ее большому разочарованию, это не был отец. Человек постоял, потом повернулся и ушел. Ирме стало жалко его — надо было бы, собственно, открыть ему, — но она так закоченела, что едва хватило сил запереть окно. Вернувшись в постель, она никак не могла согреться, и когда наконец заснула, ей приснилось, что она играет с отцом в хоккей, и отец, смеясь, толкнул ее, она упала спиной на лед, лед колет, а встать невозможно.

Утром у нее было сорок и три десятых, и доктор, которого тотчас вызвали, велел немедленно облечь ее в тугий компресс. Аннелиза вдруг почувствовала, что сходит с ума, что судьба просто не имеет права так ее мучить, и решила не поддаваться и даже улыбалась, когда прощалась с доктором. Перед уходом он еще раз заглянул к бонне, которая прямо сгорала от жара, но у этой здоровенной женщины ничего не было серьезного. Макс проводил доктора до прихожей и простуженным голосом, стараясь говорить шепотом, спросил, правда ли, что жизнь Ирмы не в опасности. Доктор Ламперт оглянулся на дверь и поджал губы. “Завтра посмотрим, — сказал он. — Я, впрочем, еще и сегодня заеду”. “Все то же самое, — думал он, сходя по лестнице. — Те же вопросы, те же умоляющие взгляды”. Он посмотрел в записную книжку и сел в автомобиль, а минут через пять уже входил в другую квартиру. Кречмар встретил его в шелковой куртке с бранденбургскими. “Она со вчерашнего дня какая-то кислая, — сказал он. — Жалуется, что все болит”. “Жар есть?” — спросил Ламперт, с некоторой тоской думая о том, сказать ли этому глупо озабоченному человеку, что его дочь опасно больна. “Температуры как будто нет, — сказал Кречмар с тревогой в голосе. — Но я слышал, что грипп без температуры — очень неприятная вещь”. “К чему, собственно, рассказывать?” — подумал Ламперт. — “Семью он бросил с совершенной беспечностью. Захотят — известят сами. Нечего мне соваться в это”.

“Ну, ну, — сказал Ламперт, — покажите мне нашу милую больную”.

Магда лежала на кушетке, вся в шелковых кружевах, злая и розовая, рядом сидел, скрестив ноги, художник Горн и карандашом рисовал на исподе папиросной коробки ее прелестную голову. “Прелестная, слова нет, — подумал Ламперт. — А все-таки в ней есть что-то от гадюки”.

Горн, посвистывая, ушел в соседнюю комнату, и Ламперт с легким вздохом приступил к осмотру больной.

Маленькая простуда — больше ничего.

“Пускай посидит дома два-три дня, — сказал Ламперт. — Как у вас с кинематографом? Кончили сниматься?”

“Ох, слава Богу, кончила! — ответила Магда, томно запахиваясь. — Но скоро будут нам фильму показывать, я непременно должна быть к тому времени здорова”.

“С другой же стороны, — беспричинно подумал Ламперт, — он с этой молодой дрянью сядет в галошу”.

Когда врач ушел, Горн вернулся в гостиную и продолжал небрежно рисовать, посвистывая сквозь зубы. Кречмар стоял рядом и смотрел на ритмический ход его белой руки. Потом он пошел к себе в кабинет дописывать статью о нашумевшей выставке.

“Друг дома”, — сказал Горн и усмехнулся.

Магда посмотрела на него и сердито проговорила:

“Да, я тебя люблю, такого большого уroda, — но ничего не делаешь...”

Он повертел коробку перед собой, потом бросил ее на стол.

“Послушай, Магда, ты все-таки когда-нибудь собираешься ко мне прийти? Очень, конечно, веселы эти мои визиты, но что же дальше?”

“Во-первых, говори тише; во-вторых, я вижу, что ты будешь доволен только тогда, когда начнутся всякие ужасные неосторожности, и он меня убьет или выгонит из дому, и будем мы с тобой без гроша”.

“Убьет... — усмехнулся Горн. — Тоже скажешь”.

“Ах, подожди немножко, я прошу тебя. Ты понимаешь, — когда он на мне женится, мне будет как-то спокойнее, свободнее... Из дому жену так легко не выгонишь. Кроме того, имеется кинематограф, — всякие у меня планы”.

“Кинематограф”, — усмехнулся Горн.

“Да, вот увидишь. Я уверена, что фильма вышла чудная. Надо ждать... Мне так же невтерпеж, как и тебе”.

Он пересел к ней на кушетку и обнял ее за плечо. “Нет, нет”, — сказала она, уже дрожа и хмурясь. “В виде закуски — один поцелуй, — в виде закуски”. “Только недолгий”, — сказала она глухо.

Он нагнулся к ней, но вдруг стукнула дальняя дверь, послышались шаги.

Горн хотел выпрямиться, но в тот же миг заметил, что шелковое кружево на плече у Магдыхватило пуговицу на его обшлаге. Магда быстро принялась распутывать, — но шаги уже приближались, Горн рванул руку, кружево, однако, было плотное, Магда зашипела, теребя ногтями петли, — и тут вошел Кречмар.

“Я не обнимаю фрейлейн Петерс”, — бодро сказал Горн. — Я только хотел поправить подушку и запутался.

Магда продолжала теребить кружево, не поднимая ресниц, — положение было чрезвычайно карикатурное, Горн мысленно отметил его с восхищением.

Кречмар молча вынул перочинный нож и открыл его, сломав себе ноготь. Карикатура продолжалась.

“Только не нарежьте ее”, — восторженно сказал Горн и начал смеяться. “Пусти”, — произнес Кречмар, но Магда крикнула: “Не смей резать, лучше отпороть пуговицу!” (“Ну, это положим!” — радостно вставил Горн). Был миг, когда оба мужчины как бы навалились на нее. Горн на всякий случай дернулся опять, что-то треснуло, он освободился.

“Пойдемте ко мне в кабинет”, — сказал Кречмар, не глядя на Горна.

“Ну-с, надо держать ухо востро”, — подумал Горн и очень кстати вспомнил прием, которым он уже два раза в жизни пользовался, чтоб отвлечь внимание соперника.

“Садитесь, — сказал Кречмар. — Вот что. Я хотел попросить вас сделать несколько рисунков — тут была интересная выставка, — мне бы хотелось, чтобы вы сделали несколько карикатур на те или иные картины, которые я разношу в моей статье, — чтоб вышли, так сказать, иллюстрации к ней. Статья очень сложная, язвительная...”

“Эге, — подумал Горн, — это у него, значит, хмурость работающей фантазии. Какая прелесть!”

“Я к вашим услугам, — проговорил он вслух. — С удовольствием. У меня тоже к вам небольшая просьба. Жду гонорара из нескольких мест, и сейчас мне приходится туговато, — вы могли бы мне одолжить — пустяк, скажем: тысячу марок?”

“Ах, конечно, конечно. И больше, если хотите. И само собой разумеется, что вы должны назначить мне цену на иллюстрации”.

“Это каталог? — спросил Горн. — Можно посмотреть?”

“Все женщины, женщины, — с нарочитой брезгливостью произнес Горн, разглядывая репродукции. — Мальчишек совсем не рисуют”.

“А на что вам они?”, — лукаво спросил Кречмар.

Горн простодушно объяснил.

“Ну, это дело вкуса”, — сказал Кречмар и продолжал, шеголяя широтой своих взглядов: “Конечно, я не осуждаю вас. Это, знаете, часто встречается среди людей искусства. Меня бы это покорило в чиновнике или в лавочнике, — но живописец, музыкант — другое дело. Впрочем, одно могу вам сказать: вы очень много теряете”.

“Благодарю покорно, для меня женщина — только милое млекопитающее, — нет, нет, увольте!”

Кречмар рассмеялся. “Ну, если на то пошло, и я должен вам кое в чем признаться. Дорианна, как увидела вас, сразу сказала, что вы к женскому полу равнодушны”.

## XIX

Прошло три дня, Магда все еще покашливала и, будучи чрезвычайно мнительной, не выходила — валялась на кушетке в кимоно. Кречмар работал у себя в кабинете. От нечего делать Магда стала развлекаться тем, чему ее как-то научил Горн: удобно расположившись среди подушек, она звонила незнакомым людям, фирмам, магазинам, заказывала вещи, которые она велела посылать по выбранным в телефонной книжке адресам, дурачила солидных людей, десять раз подряд звонила по одному и тому же номеру, доводя до исступления занятого человека, — и выходило иногда очень забавно, и бывали замечательные объяснения в любви и еще более замечательная ругань. Вошел Кречмар, остановился, глядя на нее со смехом и любовью, и слушал, как она заказывает для кого-то гроб. Кимоно на груди распахнулось, она сучила ножками от озорной радости, длинные глаза блистали и щурились. Он сейчас испытывал к ней страстную нежность (еще обостренную тем, что последнюю неделю она, ссылаясь на болезнь, не подпускала его) и тихо стоял поодаль, боясь подойти, боясь испортить ей забаву.

Теперь она рассказывала какому-то профессору Груневальду вымышленную историю своей жизни и умоляла, чтоб он встретил ее в полночь у знаменитых вокзальных часов напротив Зоологического сада, — и профессор на другом конце провода мучительно и тяжелодумно решал про себя, мистификация ли это или дань его славе экономиста и философа.

Ввиду этих Магдиных утех, не удивительно, что Макс, вот уже полчаса, не удавалось добиться телефонного соединения с квартирой Кречмара. Он пробовал вновь и вновь, и всякий раз — невозмутимое жужжание. Наконец он встал, почувствовал головокружение и сел опять: эти ночи он не спал вовсе, но не все ль равно, сейчас его долг — вызвать Кречмара. Судьба невозмутимым жужжанием как будто препятствовала его намерению, но Макс был настойчив: если не так, то иначе. Он на цыпочках прошел в детскую, где было темновато и очень тихо, несмотря на смутное присутствие нескольких людей, глянул на затылок Аннелизы, на ее пуховый платок, — и, вдруг решившись, повернулся, вышел вон, мыча и задыхаясь от слез, напялил пальто и поехал звать Кречмара.

“Подождите”, — сказал он шоферу, сойдя на панель пред знакомым домом.

Он уже напирал на тяжелую парадную дверь, когда сзади подоспел Горн, и они вошли вместе. На лестнице они взглянули друг на друга и тотчас вспомнили хоккейную игру. “Вы к господину Кречмару?” — спросил Макс. Горн улыбнулся и кивнул. “Так вот что: сейчас ему будет не до гостей, я — брат жены, я к нему с невеселой вестью”.

“Давайте передам?” — гладким голосом предложил Горн, невозмутимо продолжая подниматься рядом.

Макс страдал одышкой; он на первой же площадке остановился, исподлобья, по-бычьи, глядя на Горна. Тот выжидательно замер и с любопытством осматривал заплаканного, багрового, толстого спутника.

“Я советую вам отложить ваше посещение, — сказал Макс, сильно дыша. — У моего зятя умирает дочь”.

Он двинулся дальше. Горн спокойно за ним последовал (“забавная штука, это упустить нельзя...”). Макс отлично слышал шаги за собой, но его душила мутная злоба, он боялся что не хватит дыхания дойти, и потому берег себя. Когда они добрались до двери квартиры, он повернулся к Горну и сказал: “Я не знаю, кто вы и что вы, — но я вашу настойчивость отказываюсь понимать”.

“Я — друг дома”, — ласково ответил Горн и, вытянув длинный прозрачно-белый указательный палец, позвонил.

“Ударить его палкой?” — подумал Макс. — “Ах, не все ли равно... Только бы скорей вернуться”.

Открыл слуга (похожий, по мнению Магды, на лорда).

“Доложите, голубчик, — томно сказал Горн, — вот этот господин хочет видеть...”

“Потрудитесь не вмешиваться!” — со взрывом гнева перебил Макс и, стоя посреди прихожей, во всю силу легких позвал: “Бруно!” — и еще раз: “Бруно!”

Кречмар, увидя шурина, его перекошенное лицо, опухшие глаза, с разбегу поскользнулся и круто стал. “Ирма опасно больна, — сказал Макс, стукнув о пол тростью. — Советую тотчас поехать...”

Короткое молчание. Горн жадно смотрел на обоих. Вдруг из гостиной звонко и ясно раздался Магдин голос: “Бруно, на минутку”.

“Мы сейчас поедem”, — сказал Кречмар, заикаясь, и ушел в гостиную.

Магда стояла скрестив на груди руки. “Моя дочь опасно больна, — сказал Кречмар. — Я туда еду”.

“Это вранье, — проговорила она злобно. — Тебя хотят заманить”.

“Опомнись... Магда... ради Бога”.

Она схватила его за руку: “А если я поеду с тобой вместе?”

“Магда, пожалуйста, ну пойми, меня ждут”.



“...околпачить. Я тебя не отпущу...”

“Меня ждут, меня ждут”, — сказал Кречмар, заикаясь и пуча глаза.

“Если ты посмеешь...”

Макс стоял в передней, продолжая стучать тростью. Горн вынул портсигар. Из гостиной послышался взрыв голосов. Горн предложил Максиму папиросу. Макс, не глядя, отпихнул портсигар локтем, и папиросы рассыпались. Горн рассмеялся. Опять взрыв голосов. “О, какая мерзость...” — пробормотал Макс, дернув дверь на лестницу и, с трясущимися щеками, быстро спустился.

“Ну, что?” — шепотом спросила бонна, когда он вернулся.

“Нет, не приедет”, — ответил он, закрыл на минуту ладонью глаза, потом прочистил горло и опять, как давеча, на цыпочках прошел в детскую.

Там было все по-прежнему, Ирма тихо мотала из стороны в сторону головой, полураскрытые глаза как будто не отражали света. Она тихонько икнула. Аннелиза поглаживала одеяло у ее плеча. Ирма вдруг слегка напряглась на подушках, откидывая лицо. Со стола упала ложечка — и этот звон долго оставался у всех в ушах. Сестра милосердия стала считать пульс и потом осторожно, словно боясь повредить, опустила руку девочки на одеяло. “Она, может быть, хочет пить?” — прошептала Аннелиза. Сестра покачала головой. Кто-то в комнате очень тихо кашлянул. Ирма продолжала мотаться, затем принялась медленно поднимать и выпрямлять под одеялом колено.

Скрипнула дверь, и вошла бонна, сказала что-то на ухо Максиму, тот кивнул, она вышла. Дверь опять скрипнула, Аннелиза не повернула головы...

Кречмар остановился в двух шагах от постели, лишь смутно видя пуховый платок и бледные волосы жены, зато с потрясающей ясностью видя лицо дочери, ее маленькие черные ноздри и желтоватый лоск на круглом лбу. Так он простоял довольно долго, потом широко разинул рот — кто-то подоспел и взял его под локоть.

Он тяжело сел у стола в кабинете. В углу, на диване, сидели две смутно-знакомые дамы, на стуле поодаль рыдала бонна. Осанистый старик, неизвестно кто, стоял у окна и курил. На столе были хрустальная ваза с апельсинами и пепельница, полная окурков.

“Почему меня не позвали раньше?” — тихо сказал Кречмар, подняв брови, и так и остался с поднятыми бровями, а потом покачал головой и стал трещать пальцами. Все молчали. Тикали часы. Откуда-то появился Ламперт, ушел в детскую и очень скоро вернулся.

“Ну что?” — хрипло спросил Кречмар.

Ламперт, обратившись к осанистому старику, сказал что-то о камфоре и вышел.

Протекло неопределенное количество времени. За окнами было темно. Кречмар раза два входил в детскую, и всякий раз что-то кипятком подступало к горлу, и он опять возвращался в кабинет и садился у стола. Погодя он взял апельсин и машинально принялся его чистить. Было теперь еще тише, чем раньше, и за окном, должно быть, шел снег. С улицы доносились редкие, ватные звуки, по временам что-то стучало в паровом отоплении. Кто-то внизу на улице звучно свистнул на четырех нотах — и опять тишина. Кречмар медленно ел апельсин. Апельсин был очень кислый. Вдруг вошел Макс и ни на кого не глядя развел руками.

В детской Кречмар увидел спину жены, неподвижно и напряженно склонившейся над кроватью, — сестра милосердия взяла ее за плечи и отвела в полутьму. Он подошел к кровати, но все дрожало и мутилось перед ним, — на миг ясно проплыло маленькое мертвое лицо, короткая бледная губа, обнаженные передние зубы, одного не хватало — молочного зубка, молочного, — потом все опять затуманилось, и Кречмар повернулся, стараясь никого не толкнуть, вышел. Внизу дверь оказалась заперта, но погодя сошла какая-то дама в шали и впустила оснеженного и озябшего человека, вероятно, того, который только что свистал. Уже выйдя на улицу, Кречмар почему-то посмотрел на часы. Было за полночь. Неужели он пробыл там пять часов?

Он пошел по белой панели и все никак не мог освоить, что случилось. “Умерла”, — повторил он несколько раз и удивительно живо вообразил Ирму влезавшей к Максиму на колени или бросающей о стену мяч. Меж тем как ни в чем не бывало трубили таксомоторы, небо было черно, и только там, далеко в стороне Гедехтнискирхе, чернота переходила в теплый коричневый тон, в смуглое электрическое зарево.

Наконец он добрался до дому. Магда лежала на кушетке, полуголая, размаянная, и курила. Кречмар мельком вспомнил, что ушел из дому, поссорившись с ней, но это было сейчас неважно. Она молча проследила за ним глазами, как он тихо бродит по комнате, вытирая мокрое от снегу лицо. Никакой досады она сейчас против него не испытывала — была только блаженная усталость. Недавно ушел Горн, тоже усталый и тоже очень довольный.

## XX

Кречмар на некоторое время замолк. Его угнетала беспримерная тоска. Впервые, может быть, за этот год сожительства с Магдой он отчетливо осознавал тот легкий налет гнусности, который осел на его жизнь. Ныне судьба с ослепительной резкостью как бы заставила его опомниться, он слышал громовой окрик судьбы и понимал, что ему дается редкая возможность круто втащить жизнь на прежнюю высоту. Он понимал, что если сейчас вернется к жене, будет безмолвно и безотлучно при ней, — невозможное в иной, повседневной, обстановке сближение произойдет почти само собою. Некоторые воспоминания той ночи не давали ему покоя — он вспоминал, как Макс вдруг посмотрел на него влажным просящим взглядом, и потом, отвернувшись, сжал ему руку повыше локтя, — и он вспоминал, как в зеркале уловил необъяснимое выражение на лице жены, жалостное, затравленное и все-таки сродни человеческой улыбке. Он чувствовал наконец, что ежели не воспользоваться теперь же этой возможностью вернуться, то уже очень скоро встреча с Аннелизой станет столь же немислимой, сколь была до смерти их дочери. Обо всем этом он думал честно, мучительно и глубоко и особой логикой чувств понял, что если он поедет на похороны, то уж останется с женой навсегда. Позвонив Максу, он узнал от прислуги место и час и в утро похорон встал, пока Магда еще спала, и велел слуге приготовить ему черное пальто и цилиндр. Поспешно допив кофе, он вошел в бывшую детскую Ирмы, где теперь стоял стол для пинг-понга. И тут, подбрасывая на ладони целлулоидовый шарик, он никак не мог направить мысль на детство Ирмы, а думал о том, как прыгала здесь и вскрикивала, и ложилась грудью на стол, протянув пинг-понговую лопатку, другая девочка, живая, стройная и распутная.

Он посмотрел на часы. Надо было ехать. Он бросил шарик на стол и быстро пошел в спальню поглядеть в последний раз, как Магда спит. И остановившись у постели, впиваясь глазами в это детское лицо с розовыми ненакрашенными губами и бархатным румянцем во всю щеку, Кречмар с ужасом подумал о завтрашней жизни с женой, выцветшей, серолицей, слабо пахнущей одеколоном, и эта жизнь ему представилась в виде тускло освещенного, длинного и пыльного коридора, где стоит заколоченный ящик или детская коляска (пустая), а в глубине сгущаются потемки.

С трудом оторвав взгляд от щек и плеч Магды и нервно покусывая ноготь большого пальца, он отошел к окну. Была оттепель, автомобили расплескивали лужи, на углу виднелся ярко-фиолетовый лоток с цветами, солнечное мокрое небо отражалось в стекле окна, которое мыла веселая, растрепанная горничная. “Как ты рано встал. Ты уходишь куда-нибудь?” — протянул, перевалившись через зевок, Магдин голос.

Он, не оборачиваясь, отрицательно покачал головой.

## XXI

“Бруно, приободришься, — говорила она ему неделю спустя. — Я понимаю, что все это очень грустно, — но ведь они все тебе немножко чужие, согласишься, ты сам это чувствуешь, и, конечно, твоей дочке внушена была к тебе ненависть. Ты не думай, я очень тебе соболезную, хотя, знаешь, если у меня мог бы родиться ребенок, то я хотела бы мальчика...”

“Ты сама ребенок”, — сказал он, глядя ее по волосам.

“Особенно сегодня нужно быть бодрым, — продолжала Магда, надувая губы. — Особенно сегодня. Подумай, ведь это начало моей карьеры, я буду знаменита”.

“Ах да, я и забыл. Это когда же? Сегодня разве?”

Явился Горн. Он заходил в последнее время каждый день, и Кречмар несколько раз поговорил с ним по душам, сказал ему все то, что Магде он бы сказать не смел и не мог. Горн так хорошо слушал, высказывал такие мудрые мысли и с такой вдумчивостью сочувствовал ему, что недавность их знакомства казалась Кречмару чем-то совершенно условным, никак не связанным с внутренним — душевным — временем, за которое развилась и созрела их мужественная дружба. “Нельзя строить жизнь на песке несчастья, — говорил Горн. — Это грех против жизни. У меня был знакомый — скульптор, — который женился из жалости на пожилой, безобразной горбунье. Не знаю в точности, что случилось у них, но через год она пыталась отравиться, а его пришлось посадить в желтый дом. Художник, по моему мнению, должен руководиться только чувством прекрасного — оно никогда не обманывает”.

“Смерть, — говорил он еще, — представляется мне просто дурной привычкой, которую природа теперь уже не может в себе искоренить. У меня был приятель, юноша, полный жизни, с лицом ангела и с мускулами пантеры, — он порезался, откупоривая бутылку, и через несколько дней умер. Ничего глупее этой смерти нельзя было себе представить, но вместе с тем... вместе с тем, — да, странно сказать, но это так: было бы менее художественно, доживи он до старости... Изюминка, пуанта жизни заключается иногда именно в смерти”.

Горн в такие минуты говорил не останавливаясь — плавно выдумывая случаи с никогда не существовавшими знакомыми, подбирая мысли, не слишком глубокие для ума слушателя, придавая

словам сомнительное изящество. Образование было у него пестрое, ум — хваткий и пронизательный, тяга к разыгрыванию ближних — непреодолимая. Единственное, быть может, подлинное в нем была бессознательная вера в то, что все созданное людьми в области искусства и науки только более или менее остроумный фокус, очаровательное шарлатанство. О каком бы важном предмете не заходила речь, он был одинаково способен сказать о нем нечто мудреное, или смешное, или пошловатое, если этого требовало восприятие слушателя. Когда же он говорил совсем серьезно о книге или картине, у Горна было приятное чувство, что он — участник заговора, сообщник того или иного гениального гаера — создателя картины, автора книги. Жадно следя за тем, как Кречмар (человек, по его мнению, тяжеловатый, недалекий, с простыми страстями и добротными, слишком добротными познаниями в области живописи) страдает и как будто считает, что дошел до самых вершин человеческого страдания, — следя за этим, Горн с удовольствием думал, что это еще не все, далеко на все, а только первый номер в программе превосходного мюзик-холла, в котором ему, Горну, предоставлено место в директорской ложе. Директором же сего заведения не был ни Бог, ни дьявол. Первый был слишком стар и мастит и ничего не понимал в новом искусстве, второй же, обрюзгший черт, обожравшийся чужими грехами, был нестерпимо скучен, скучен, как предсмертная зевота тупого преступника, зарезавшего ростовщика. Директор, предоставивший Горну ложу, был существом трудноуловимым, двойственным, тройственным, отражающимся в самом себе, — переливчатым магическим призраком, тенью разноцветных шаров, тенью жонглера на театрально освещенной стене... Так, по крайней мере, полагал Горн в редкие минуты философских размышлений.

Оттого он никак не мог понять в себе острое пристрастие к Магде. Он старался его объяснить физическими свойствами Магды, чем-то таким в запахе кожи, в температуре тела, в особом строении глазного райка, в особенной эпителии губ. Но все это было не совсем так. Взаимная их страсть была основана на глубоком родстве их душ — даром что Горн был талантливым художником, космополитом, игроком...

Явившись к ним в тот день, в который Магда впервые должна была замелькать на экране, он успел ей сказать (подавая ей пальто), что там-то и там-то снял комнату, где они могут спокойно встречаться. Она ответила ему злым взглядом, ибо Кречмар стоял в десяти шагах от них. Горн рассмеялся и добавил, почти не понижая голоса, что будет каждый день там ждать ее между таким-то и таким-то часом.

“Я приглашаю фрейлейн Петерс на свидание, а она не хочет”, — сказал он Кречмару, пока они спускались вниз.

“Попробуй она у меня захотеть, — улыбнулся Кречмар и нежно ущипнул Магду за щеку. — Посмотрим, посмотрим, как ты играешь”, — продолжал он, натягивая перчатку.

“Завтра в пять, фрейлейн Петерс”, — сказал Горн.

“Маленькая завтра поедет одна выбирать автомобиль, — проговорил Кречмар. — Так что никаких свиданий”.

“Успеется, автомобиль не убежит, правда, фрейлейн Петерс?”

Магда вдруг обиделась. “Какие дурацкие шутки!” — воскликнула она.

Мужчины, смеясь, переглянулись, Кречмар подмигнул.

Швейцар, разговаривавший с почтальоном, посмотрел на Кречмара с любопытством.

“Прямо не верится, — сказал швейцар, когда те прошли, — прямо не верится, что у него недавно умерла дочка”.

“А кто второй?” — спросил почтальон.

“Почем я знаю. Завела молодца ему в подмогу, вот и все. Мне, знаете, стыдно, когда другие жильцы смотрят на эту... (нехорошее слово). А ведь приличный господин, сам-то, и богат, — мог бы выбрать себе подругу поосанистее, покрупнее, если уж на то пошло”.

“Любовь слепа”, — задумчиво произнес почтальон.

## XXII

В небольшом зале, где показывали актерам и гостям фильм “Азра”, было народу немного, но достаточно для того, чтобы у Магды прошел тревожный и приятный холодок по спине. Недалеко от себя она заметила того режиссера, к которому некогда так неудачно ходила представляться. Он подошел к Кречмару. Кречмар представил его Магде. На правом глазу у него был крупный ячмень. Магду рассердило, что он сразу же ее не узнал. “А я у вас как-то была в конторе”, — сказала она злорадно (пускай теперь пожалеет). “Ах, сударыня, — ответил он с учливой улыбкой, — я помню, помню”. На самом деле он не помнил ничего.

Как только погас свет, Горн, сидевший между нею и Кречмаром, нащупал и взял ее руку. Спереди сидела Дорианна Каренина, кутаясь в мех, хотя в зале было жарко. Соседом ее был режиссер с ячменем, и Дорианна за ним ухаживала. Тихо и ровно, вроде пылесоса, заработал аппарат. Музыка не было.

Магда появилась на экране почти сразу: она читала, потом бросила книгу и бежала к окну: подъехал верхом ее жених. У нее так замерло сердце, что она вырвала руку из руки Горна и больше ее не давала (он зато гладил ее по юбке и как-то умудрился отстегнуть ее подвязку). Угловатая, неказистая, с припухшим, странно изменившимся ртом, черным как пиявка, с неправильными бровями и непредвиденными складками на платье, невеста дико взглянула перед собой, а затем легла грудью на подоконник, задом к публике.

Магда оттолкнула блуждающую руку Горна — и ей вдруг захотелось кого-нибудь укусить или броситься на пол, забиться, закричать... Неуклюжая девица на экране ничего общего с ней не имела — она была ужасна, она была похожа на ее мать-швейцариху на свадебной фотографии. Может быть, дальше лучше будет? Кречмар перегнулся к ней, по дороге полуобняв Горна, и нежно прошелестел: “Очаровательно, чудесно, я не ожидал...” Он действительно был очарован. Ему вспомнился “Аргус”, его трогало, что Магда так невозможно плохо играет, — и вместе с тем в ней была какая-то прелестная, детская старательность, как у подростка, читающего поздравительные детские стихи. Горн тихо ликовал: он не сомневался, что Магда выйдет на экране неудачно, но знал, что за это попадет Кречмару, а завтра в виде реакции... Все это было очень



забавно. Он принялся опять бродить рукой по ее ногам и платью, и она вдруг сильно ущипнула его.

Через некоторое время невеста появилась снова: она шла крадучись, вдоль стены, тайком шла в кафе, где светлая личность, друг семьи, видел ее жениха в обществе женщины из породы вампиров (Дорианна Каренина). Кралась она вдоль стены возмутительно, и почему-то спина у нее вышла толстенькая. “Я сейчас закричу”, — подумала Магда. К счастью, экран перемигнул, появился столик в кафе, герой, дающий закурить (интимность!) Дорианне. Дорианна откидывала голову, выпускала дым и улыбалась одним уголком рта. Кто-то в зале захлопал, другие подхватили. Вошла невеста. Рукоплескания умолкли. Невеста открыла рот, как Магда никогда не открывала. Дорианна, настоящая Дорианна, сидевшая впереди, обернулась, и глаза ее ласково блеснули в полутьме. “Молодец, девочка”, — сказала она хрипло, и Магде захотелось полоснуть ее по лицу ногтями.

Теперь она так боялась каждого своего появления, что вся слабела и не могла, как прежде, хватать и щипать назойливую руку Горна. Онадохнула ему в ухо горячим шепотом: “Пожалуйста, перестань, я пересяду”. Он похлопал ее по колену, и рука его успокоилась.

Невеста появлялась вновь и вновь, и каждое движение терзало Магду, она была, как душа в аду, которой бесы показывают земные ее прегрешения. Простоватость, корявость, стесненность движений... На этом одутловатом лице она улавливала почему-то выражение своей матери, когда та старалась быть вежливой с влиятельным жильцом. “Очень удачная сцена”, — шептал Кречмар, перегибаясь через Горна. Горну сильно надоело сидеть в темноте и смотреть скверную фильму. Он закрыл глаза и стал вспоминать, как было трудно и вместе с тем весело рисовать для кинематографа движения Чипи, — тысячи движений. “Надо что-нибудь придумать новое, — непременно надо придумать”.

Драма подходила к концу. Герой, покинутый вампиром, шел под сильным дождем в аптеку покупать яд. Невеста в деревне играла с его незаконным ребенком, младенец к ней ластился. Вот она почему-то провела тылом руки по платью. Это движение не было предусмотрено, — она словно вытирала руку, а младенец глядел исподлобья. По залу прошел смешок. Магда не выдержала и стала тихо плакать.

Как только зажегся свет, она встала и пошла к выходу. “Что с ней, что с ней?” — пробормотал Кречмар и быстро за ней последовал. Горн выпрямился, расправляя плечи. Дорианна тронула его за рукав. Рядом стоял господин с ячменем на глазу и позевывал.

“Провал,- сказала Дорианна, подмигнув.- Бедная девочка”.

“А вы довольны собой?” — спросил Горн с любопытством.

Дорианна усмехнулась: “Нет, настоящая актриса никогда не бывает довольна”.

“Художники тоже, — сказал Горн. — Но вы не виноваты. Роль была глупая. Скажите, кстати, как вы придумали свой псевдоним? Я все хотел узнать?”

“Ох, это длинная история”, — ответила она с улыбкой.

“Нет, вы меня не понимаете. Я хочу узнать. Скажите, вы Толстого читали?”

“Толстого?” — переспросила Дорианна Каренина. — “Нет, не помню. А почему вас это интересует?”

## XXIII

На квартире у Кречмара была буря, рыдания, судороги, стоны. Кречмар беспомощно ходил за ней: она бросалась то на кушетку, то на постель, то на пол. Глаза ее яростно и прекрасно блистали, один чулок сполз. Весь мир был мокр от слез. Кречмар утешал ее самыми нежными словами, какие он только знал, употребляя незаметно для себя слова, которые он говорил некогда дочери, целуя синяк, — слова которые теперь как бы освободились после смерти Ирмы.

Сначала Магда излила весь свой гнев на него, потом страшными эпитетами выругала Дорианну, потом обрушилась на режиссера (заодно попало совершенно непричастному Гроссману, толстяку с ячменем). “Хорошо, — сказал Кречмар наконец. — Я приму исключительные меры. Только заметь, я вовсе не считаю, что это провал, — напротив, ты местами очень мило играла, — там, например, в первой сцене, — знаешь, когда ты...”

“Замолчи!” — крикнула Магда и швырнула в него подушкой. “Да постой, Магда, выслушай. Я же все готов сделать, только бы моя девочка была счастлива. Я знаешь что сделаю? Ведь фильма-то моя, я платил за эту ерунду... то есть, за ту ерунду, которую из нее сделал режиссер. Вот я ее и не пущу никуда, а оставлю ее себе на память (“Нет, сожги”, — сказала Магда рыдающим баском) или да, сожгу. И Дорианне, поверь, поверь, это будет не очень приятно. Ну что, мы довольны?”

Она продолжала всхлипывать, но уже тише.

“Красавица ты моя, не плачь же. Я тебе еще кое-что скажу. Вот завтра ты пойдешь выбирать автомобиль — весело же! А потом мне его покажешь, и я, может быть (он улыбнулся и поднял брови на лукаво растянутом слове “может быть”), его куплю. Мы поедем кататься, ты увидишь весну на юге, мимозы... А, Магда?”

“Не это главное”, — сказала она ужимчиво.

“Главное, чтобы ты была счастлива, и ты будешь со мною счастлива. Осенью вернемся, будешь ходить на кинематографические курсы или я найду талантливого режиссера, учителя... вот, например, Гроссман...”

“Нет, только не Гроссман”, — зарычала Магда содрогаясь.

“...ну, другого. Найдем уж, найдем. Ты же вытри слезы, — мы поедем ужинать и танцевать... Пожалуйста, Магда!”

“Я только тогда буду счастлива, — сказала она, тяжело вздохнув, — когда ты с ней разведешься. Но я боюсь, что ты теперь увидел, как у меня ничего там не вышло, в этой мерзкой фильме, и бросишь меня. Нет, постой, не надо меня целовать. Скажи, ты ведешь какие-нибудь переговоры или все это заглохло?”

“Понимаешь ли, какая штука, — с расстановкой проговорил Кречмар, — понимаешь ли... Эх, Магда, ведь сейчас у нас, то есть у нее главным образом, — ну, одним словом, горе, мне как-то сейчас просто не очень удобно...”

“Что ты хочешь сказать?” — спросила Магда привстав. — “Разве она до сих пор не знает, что ты хочешь развода?”

“Нет, не в этом дело, — переглотнул и замялся Кречмар. — Конечно, она... это чувствует, то есть знает”. Он смутился окончательно.

Магда медленно вытягивалась кверху, как разворачивающаяся змея.

“Вот что — она не дает мне развода”, — выговорил он, впервые оболгав Аннелизу.

“И не даст?” — спросила Магда, кусая губы, щурясь и медленно приближаясь к нему.

“Сейчас будет драться”, — подумал Кречмар устало. “Нет, даст, конечно, даст, — сказал он вслух. — Ты только не волнуйся так”.

Магда подошла к нему вплотную и — обвила его шею руками.

“Я больше не могу быть только твоей любовницей, — сказала она, скользя щекой по его галстуку. — Я не могу. Сделай что-нибудь. Завтра же скажи себе: я это сделаю для моей девочки. Ведь есть же адвокаты, всего же можно добиться”.

“Я обещаю тебе”.

Она слегка вздохнула и отошла к зеркалу, томно разглядывая свое отражение.

“Развод? — подумал Кречмар. — Нет-нет, это невысказано”.

## XXIV

Комнату, снятую им для свиданий с Магдой, Горн обратил в мастерскую, и всякий раз, когда Магда являлась, она заставляла его за работой. Он издавал музыкальный, богатый мотивами свист, пока рисовал. Магда глядела на меловой оттенок его щек, на толстые, пунцовые губы, округленные свистом, на мягкие черные волосы, такие сухие и легкие на ощупь — и чувствовала, что этот человек в конце концов ее погубит. На нем была шелковая рубашка с открытым воротом, ладным ремешком подпоясанные фланелевые штаны. Он творил чудеса при помощи китайской туши.

Так они виделись почти ежедневно; Магда оттягивала отъезд, хотя автомобиль был куплен и начиналась весна. “Позвольте вам дать совет, — как-то сказал Горн Кречмару. — Зачем вам брать шофера? Я способен сидеть за рулем двенадцать часов сряду, и автомобиль у меня делается шелковым”. “Очень мило с вашей стороны, — ответил Кречмар несколько нерешительно. — Но право, я не знаю... Я боюсь оторвать вас от работы, мы собираемся довольно далеко закатиться...” “Ах, какая там работа. Я и так собирался махнуть куда-нибудь на юг”. “В таком случае будем очень рады”, — сказал Кречмар, с тревогой думая о том, как отнесется к этому Магда. Магда, однако, помявшись, согласилась. “Пусть едет, — заметила она. — Хотя, знаешь, он последнее время начинает мне надоедать, поверяет мне свои сердечные дела, — он об этом говорит с такими вздохами, словно влюблен в женщину. А на самом деле...”

Был канун отъезда. По дороге домой из магазинов она забежала к Горну и повисла у него на шее. Присутствие маленького мольберта у окна и пыльный сноп солнца через комнату напомнили ей, как она была натурщицей, и теперь, торопливо снимая платье, она с улыбкой вспоминала, как бывало ей иногда холодно выходить голой из-за ширмы.

Одевалась она потом с чрезвычайной быстротой, подсакивая на одной ноге, кружась, поднимая в зеркале бурю. “Чего ты так спешишь?” — сказал он лениво. — “Подумай, нынче последний раз. Неизвестно, как будем устраиваться во время путешествия”. “На то мы с тобой и умные”, — ответила она со смехом.

Она выскочила на улицу и засемила, выглядывая таксомотор, но солнечная улица была пуста. Дошла до площади — и, как всегда возвращаясь от Горна, подумала, а не взять ли направо, потом

через сквер, потом опять направо... Там была улица, где она в детстве жила.

(Счастье, удача во всем, быстрота и легкость жизни... Отчего в самом деле не взглянуть?)

Улица не изменилась. Вот булочная на углу, вот мясная, на выставке — знакомый золотой бык, а перед мясной — привязанный к решетке бульдог майорской вдовы из пятнадцатого номера. Вот кабак, где пропал ее брат. Вот там наискосок — дом, где она родилась. Подойти ближе она не решилась, смутно опасаясь чего-то. Она повернула и тихо пошла назад. Уже около сквера ее окликнул знакомый голос.

Каспар, братнин товарищ с татуировкой на кисти. Он вел седло велосипеда с фиолетовой рамой и с корзиной перед рулем. “Здравствуй, Магда”, — сказал он, дружелюбно кивнув, и пошел с ней рядом вдоль панели.

В последний раз, когда она видела его, он был очень неприветлив: тогда он действовал с приятелями сообща. Это была группа, организация, почти шайка; теперь же, один, он был просто старый знакомый.

“Ну, как дела, Магда?”

Она усмехнулась и ответила: “Прекрасно. А у тебя как?”

“Ничего, живем. А знаешь, ведь твои съехали. Они теперь в скверном квартале. Ты бы как-нибудь их навестила, Магда. Подарочек или что. Твой отец долго не протянет...”

“А Отто где?” — спросила она.

“Отто в отъезде, в Билефельде, кажется, работает”.

“Ты сам знаешь, — сказала она, — ты сам знаешь, как меня дома любили. У меня пухли щеки от оплеух. И разве они потом старались узнать, что со мной, где я, не погибла ли я? Не прочь на мне заработать — вот и все”.

Каспар кашлянул и сказал: “Но это, как-никак, твоя семья, Магда. Ведь твою мать выжили отсюда, и на новых местах ей не сладко”.

“А что обо мне тут говорят?” — спросила она с любопытством.

“Ах, ерунду всякую... Судачат. Это понятно. Я же всегда считаю, что женщина вправе распоряжаться своей жизнью. Ты как — с твоим другом ладишь?”

“Ничего, лажу. Он скоро на мне женится”.

“Это хорошо, — сказал Каспар. — Я очень рад за тебя. Только жалко, что ты стала теперь дамой, и нельзя с тобой повозиться, как раньше. Это очень, знаешь, жалко”.

“А у тебя есть подружка?” — спросила она улыбаясь.

“Нет, сейчас никого, мы с Гретой поссорились. Трудно все-таки жить иногда, Магда. Я теперь служу в кондитерской. Я бы хотел иметь свою собственную кондитерскую, — но когда это еще будет...”

“Да, жизнь”, — задумчиво произнесла Магда и, немного погодя, подозвала таксомотор.

“Может быть, мы как-нибудь”, — начал Каспар, но застеснялся.

“Погибнет девчонка, — подумал он, глядя, как она садится в автомобиль. — Наверняка погибнет. Ей бы выйти за простого хорошего человека. Я б на ней, правда, не женился — вертушка, ни минуты покоя...”

Он вскочил на велосипед и до следующего угла быстро ехал за автомобилем. Магда ему помахала рукой, он плавно, как птица, повернул и стал удаляться по боковой улице.

## XXV

Все было очаровательно, все было весело — кроме ночевок в гостиницах. Кречмар был тягостно настойчив. Когда она пыталась отбойриться, ссылаясь на усталость, он, чуть не плача, говорил, что ни разу за день ее не поцеловал, просил позволения только поцеловать — и постепенно добивался своего. Горн между тем был по соседству, она слышала иногда его шаги или посвистывание — а Кречмар рычал от счастья, — и Горн рычание мог слышать. Утром ехали дальше — в чудесном, беззвучном автомобиле с внутренним управлением, шоссейная дорога, обсаженная яблонями, гладко подливалась под передние шины, погода была великолепная, к вечеру стальные соты радиатора бывали битком набиты мертвыми пчелами и стрекозами. Горн действительно правил прекрасно: полулежа на очень низком сидении с мягкой спиной, он непринужденно и ласково орудовал рулем. Сзади, в окошечке, висела толстая Чипи и глядела на убегающий вспять север.

Во Франции пошли вдоль дороги тополя, в гостиницах горничные не понимали Магду, и это ее раздражало. Весну было решено провести на Ривьере, затем Швейцария или Итальянские озера. На предпоследней до Гиер остановке они очутились в прелестном городке Ружинар. Приехали туда на закате, над окрестными горами линияли лохматые розовые тучи, в кофейнях исподлобья сверкали огни, платаны бульвара были уже по-ночному сумрачны. Магда, как всегда к ночи, казалась усталой и сердитой, со дня отъезда, то есть за две недели (они ехали не торопясь, останавливаясь в живописных городках), она ни разу не побывала наедине с Горном, — это было мучительно, Горн, встречаясь с ней взглядом, грустно облизывался, как пес, привязанный хозяйкой у двери мясной. Поэтому, когда они въехали в Ружинар и Кречмар стал восхищаться силуэтами гор, небом, дрожащими сквозь платаны огнями, Магда на него огрызнулась. “Восторгайся, восторгайся”, — произнесла она сквозь зубы, едва сдерживая слезы. Они подъехали к большой гостинице. Кречмар пошел справиться насчет комнат. “С ума сойду, если так будет продолжаться”, — сказала Магда, стоя среди холла и не глядя на Горна. “Всыпь ему снотворного, — предложил Горн. — Я достану в аптеке”. “Пробовала, — ответила Магда злобно. — Не действует”.



Кречмар вернулся к ним, с виду несколько расстроенный. “Все полно, — сказал он, разводя руками. — Это очень досадно. Ты устала, моя маленькая”. Магда, не разжимая зубов, двинулась к выходу. Они подъехали к трем гостиницам, и нигде комнат не оказывалось. Магда была в таком состоянии, что Кречмар боялся на нее смотреть. Наконец, в пятой гостинице, им предложили войти в лифт, подняться и посмотреть. Смуглый мальчишка, поднимавший их, стоял к ним в профиль. “Смотрите, что за красота, какие расницы”, — сказал Горн, слегка подтолкнув Кречмара. “Перестаньте поясничать!” — вдруг воскликнула Магда.

Номер с двуспальной постелью был вовсе неплохой, но Магда стала мелко стучать каблуком об пол, тихо и неприятно повторяя: “Я здесь не останусь, я здесь не останусь”. “Превосходная комната”, — сказал Кречмар увещеваяще. Мальчик вдруг открыл внутреннюю дверь, — там оказалась ванная, вошел в нее, открыл другую дверь — вот те на: вторая спальня!

Горн и Магда вдруг переглянулись.

“Я не знаю, насколько вам это удобно, — общая ванная, — проговорил Кречмар. — Ведь Магда купается как утка”.

“Ничего, ничего, — засмеялся Горн. — Я как-нибудь, с боку припека”.

“Может быть, у вас все-таки найдется что-нибудь другое?” — обратился Кречмар к мальчику. Но тут поспешно вмешалась Магда.

“Глупости, — сказала она, — глупости. Надоело бродить”.

Она подошла к окну, пока вносили чемоданы. Синева, огоньки, черные купы деревьев, звон кузнечиков... Но она ничего не видела и не слышала — ее разбирало счастливое нетерпение. Наконец она осталась вдвоем с Кречмаром, он стал выкладывать умывальные принадлежности. “Я первая пойду в ванную”, — сказала она, торопливо раздеваясь. “Ладно, — ответил он добродушно. — Я тут сперва побреюсь. Только торопись, надо идти ужинать”. В зеркале он видел, как мимо стремительно пролетали джемпер, юбка, что-то светлое, еще что-то светлое, один чулок, другой...

“Вот неряха”, — сказал он, намыливая кадык.

Он слышал, как закрылась дверь, как трахнула задвижка, как шумно потекла вода.

“Нечего запираться, я все равно тебя купать не собираюсь”, — крикнул он со смехом и принялся оттягивать четвертым пальцем щеку.

За дверью вода продолжала литься. Она лилась громко и непрерывно. Кречмар тщательно водил бритвой по щеке. Лилась вода, причем шум ее становился громче и громче. Внезапно Кречмар увидел в зеркало, что из-под двери ванной выползает струйка воды, меж тем шум был теперь грозовой, торжествующий.

“Что она в самом деле... потоп... — пробормотал он и подскочил к двери, постучал. — Магда, ты утонула? Сумасшедшая ты этакая!”

Никакого ответа. “Магда! Магда!” — крикнул он, и снежинки засохшей мыльной пены запорхали вокруг его лица.

Магда вышла из блаженного оцепенения, поцеловала напоследок Горна в ухо и бесшумно проскользнула в ванную: комнатка была полна пара и воды, она проворно закрыла краны.

“Я заснула в ванне”, — крикнула она жалобно через дверь.

“Сумасшедшая, — повторил Кречмар. — Ты меня так напугала”.

Струйки на полу остановились. Кречмар вернулся к зеркалу и снова намылил лицо.

Она явилась из ванной бодрая, сияющая и стала осыпаться тальком. Кречмар в свою очередь пошел купаться — там было все очень мокро. Оттуда он постучал Горну. “Я вас не задержу, — сказал он через дверь. — Сейчас будет свободно”. “Валяйте, валяйте”, — чрезвычайно весело ответил Горн.

За ужином она была прелестно оживлена, они сидели на террасе, вокруг лампы колесили ночницы и падали на скатерть.

“Мы останемся здесь долго, долго, — сказала Магда. — Мне здесь страшно нравится”. В действительности ей нравилось только одно: расположение комнат.

## XXVI

Прошла неделя, вторая. Дни были безоблачные — зной, цветы, иностранцы, великолепные прогулки. Магда была счастлива, Горн тихо улыбался. Она принимала ванну утром и вечером, но уже следила за тем, чтобы не было потопа. Старый французский полковник за соседним столиком наливался бурой кровью, как только она появлялась, и не спускал с нее жадных глаз, — и был американец, знаменитый теннисист с лошадиным лицом и загорелыми руками, который предложил ей давать уроки на отдельной площадке. Но кто бы на нее ни глядел, кто бы с ней ни танцевал, Кречмар ревности не чувствовал, и, вспоминая Сольфи, он дивился: в чем разница, почему тогда все нервило и тревожило его, а сейчас — уверенность, спокойствие? Он не замечал, что нет в ней теперь особого желания нравиться другим, искать чужих прикосновений и взглядов, — был только один человек, Горн, а Горн был тень Кречмара.

Однажды, в майский день, они втроем отправились пешком за несколько верст от курорта, в горы. К концу дня Магда устала, и решено было вернуться в Ружинар дачным поездом. Для этого пришлось спуститься по крутым, каменистым тропинкам, Магда натерла ногу, Кречмар и Горн поочередно несли ее на руках. Пришли на станцию. Вечерело, на платформе было много туристов. Поезд был простецкий, мелковагонный, бескоридорный. Сели. Затем Кречмар рискнул выйти опять на платформу, чтобы выпить стакан пива. У буфета он столкнулся с господином, который торопливо платил. Они поглядели друг на друга. “Дитрих, голубчик! — воскликнул Кречмар. — Вот неожиданно!” Это был Дитрих фон Зегелькранц, беллетрист. “Ты один? — спросил Зегелькранц. — Без жены?” “Да, без жены”, — ответил Кречмар, слегка смутясь. “Поезд уходит”, — сказал тот. “Я сейчас, — заторопился Кречмар, хватая стакан. — Ты садись... Вон там, второй вагон, я сейчас, первое отделение. Я сейчас. Эти монеты...”

Зегелькранц побежал к поезду — уже захлопывались дверцы. В отделении было жарко, темновато и довольно полно. Поезд двинулся. “Опоздал”, — подумал Зегелькранц с удовлетворением. Восемь лет прошло с тех пор, как он видел Кречмара, и говорить, в общем, было с ним не о чем. Зегелькранц был очень одинок, любил

свое одиночество и сейчас работал над новой вещью — появление прежнего приятеля выходило некстати.

Горн и Магда, высунувшись в окно, видели, как Кречмар энергично и неуклюже атаковал последний вагон и благополучно влез. Горн держал Магду за талию. “Молодожены, — вскользь подумал Зегелькранц, — Она — дочь винодела, у него — магазин готового платья в Ницце...”

Молодожены сели, блаженно друг другу улыбаясь. Зегелькранц вынул из кармана черную записную книжку.

“Ножка не болит?” — спросил Горн.

“Что у меня может болеть, когда я с тобой, — томно проговорила Магда. — Когда я думаю, что сегодня вечером...”

Горн сжал ей руку. Она вздохнула и, так как жара ее размаяла, положила голову ему на плечо, продолжая нежно ежиться и говорить, — все равно французы в купе не могли понять. У окна сидела толстая усатая женщина в черном, рядом с ней мальчик, который все повторял: “Donne — moi une orange, un tout petit bout d orange!” “Fiche — moi la raiz”, — отвечала мать. Он замолкал и потом начинал скулить сызнова. Двое молодых французов тихо обсуждали выгоды автомобильного дела; у одного из них была сильнейшая зубная боль, щека была повязана, он издавал сосущий звук, перекашивая рот. А прямо против Магды сидел маленький лысый господин в очках, с черной записной книжкой в руке — должно быть, провинциальный нотариус.

“Апельсинчик, дай апельсинчик!” — “А ну отвяжись” (франц.).

В последнем вагоне сидел Кречмар и думал о Зегелькранце. Они учились вместе в университете, затем встречались реже, Дитрих говаривал, что когда-нибудь опишет его и Аннелизу, когда захочет выразить “музыкальную тишину молодого супружеского счастья”. Восемь лет тому назад Дитрих был очень привлекательный с виду, тоненький человек, с русой, довольно пышной шевелюрой и мягкими усами, которые он душил из гранатового флакончика сразу после еды. Он был очень слаб, нервен и мнителен, страдал редкостными, но не опасными болезнями, вроде сенной лихорадки. Последние годы он безвыездно жил на юге Франции. Его имя было хорошо известно в литературных кругах, но книги его продавались туго. Он знал лично покойного Марселя Пруста, подражал ему и некоторым другим новаторам, так что из-под его пера выходили странные, сложные и тягучие вещи. Это был наблюдательный, чудаковатый и не особенно счастливый человек.

Минут через двадцать замелькали огни Ружинара. Поезд остановился. Кречмар поспешно покинул вагон. Ему было досадно, он смутно боялся недоразумения, следовало поскорее объяснить Дитриху. На платформе было много народу, и только у выхода он отыскал Магду и Горна.

“Вы с Зегелькранцем познакомились?” — спросил он улыбаясь.

“С кем?” — переспросила Магда.

“Разве он к вам в отделение не попал? Ладный такой, изящный. Артистическая прическа, мой старый друг...”

“Нет, — ответила Магда, — такого у нас не было”.

“Значит, он не туда сел, — сказал Кречмар. — Какая, однако, вышла путаница. Как ножка — лучше?”

## XXVII

Утром он справился в немецком пансионе, но адреса Зегелькранца там не знали. “Жалко, — подумал Кречмар. — А впрочем, может быть, к лучшему, уж очень давно не виделись”. Как-то, через несколько дней, он проснулся раньше обыкновенного, увидел сизо-голубой день в окне, еще дымчатый, но уже набухающий солнцем, мягко-зеленые склоны вдали, и ему захотелось выйти, долго ходить, взбираться по каменистым тропинкам, вдыхать запахи тмина. Магда проснулась “Еще так рано”, — сказала она сонно. Он предложил быстрехонько одеться и, знаешь, вдвоем, вдвоем, на весь день... “Отправляйся один”, — пробормотала она и повернулась на другой бок. “Ах ты, соня”, — сказал с грустью Кречмар.

Было, когда он вышел, часов семь утра, городок проснулся только наполовину. Проходя мимо вишневых садов и голубых дачек уже поднимавшейся в гору тропой, он увидел сквозь яркую зелень человека, поливавшего из лейки темными восьмерками песок перед крыльцом. “Дитрих, вот ты где!” — крикнул Кречмар. Зегелькранц был без шляпы: как неожиданно, — лысина, загорелая лысина и воспаленные, мигающие глаза.

“Мы ужасно глупо потеряли друг друга”, — сказал Кречмар со смехом.

“Но встретились опять”, — ответил Зегелькранц, продолжая тихо поливать песок.

“Ты... ты всегда так рано встаешь, Дитрих?”

“Бессонница. Я слишком много пишу. А ты куда? В горы?”

“Пойдем, пойдем со мной, — сказал Кречмар. — И захвати что-нибудь почитать. Мне очень интересно, твой последний томик мне так понравился”.

“Ах, стоит ли, — сказал Зегелькранц, подумал, увидел мысленно рукопись, черные росинки букв, улыбающиеся страницы. — Впрочем, если хочешь. Я как раз последние дни расписался”.

Он прошел в комнату — прямо из сада — и вернулся с толстой клеенчатой тетрадкой.

“Поведу тебя в очень зеленое, красивое место, — сказал он. — Там мы почитаем под журчание воды. Как поживает твоя жена, почему ты один разъезжаешь?”

Кречмар прищурился и ответил:

“У меня было много несчастий, Дитрих. С женой я порвал, а девочка моя умерла”.

Зегелькранцу стало неудобно: бедняга, стоит ли ему читать, он будет плохо слушать.

Они шли вверх среди благовонных кустов. Затем их окружили сосенки, на стволах сидели сплюснутые цикады и трещали, трещали, пока то у одной, то у другой не кончался завод.

“Обожаю эти места, — вздохнул Зегелькранц. — Тут так легко и так чисто. У меня тоже были несчастья. Но это теперь далеко. Мои книги, мое солнце — что мне еще нужно?”

“А я сейчас в самом, так сказать, водовороте жизни, — сказал Кречмар, — Ты, должно быть, помнишь, как я мирно и хорошо жил с женой. Ты даже говорил... Эх, да что вспоминать! Та, которую я теперь люблю, все собой заслонила. И вот только в такие утра, как нынче, когда еще не жарко, у меня в голове ясно, я чувствую себя более или менее человеком”.

“Ложная тревога, — подумал Зегелькранц. — Он будет слушать”.

Они добрались до глубины рощицы на вершине холма. Там, из железной трубки, била ледяная струйка воды, текла по мшистой выемке, над ней дрожали желтые и лиловые цветы. Кречмар лег навзничь и загляделся на синеву неба сквозь озаренные, тихо шевелящиеся верхушки сосен.

“Правда, очаровательно?” — спросил Дитрих, нацепляя очки. — “Вот мы сейчас почитаем, потом спустимся в долину, оттуда — к развалинам, там снова — остановка и чтение. Потом закусим, — я знаю прелестную ферму. Потом дальше пойдём, и снова — отдых и чтение”.

“Ну, пожалуйста, я слушаю”, — сказал Кречмар, глядя в небо и думая о том, как мог бы он рассказать Дитриху куда больше, чем писатель может выдумать.

Зегелькранц кокетливо засмеялся “Это не роман и не повесть, — сказал он. — Мне трудно определить... Тема такая: человек с повышенной впечатлительностью отправляется к дантисту. Вот, собственно говоря, и все”.

“Длинная вещь?”

“Будет страниц триста — я еще не кончил”.

“Ого”, — сказал Кречмар.

Зегелькранц нашел место в тетрадке и прочистил горло. “Я из середины, в начале нужно многое переделать. А вот это я писал вчера, и оно еще свежее, и кажется мне очень хорошим, — но, конечно, завтра я буду жалеть, что тебе читал, — замечу тысячу промахов, недоразвитых мыслей...”

Он опять кашлянул и принялся читать:

“Герман замечал, что о чем бы он ни думал: о том ли, что у дантиста, к которому он идет, седины и ухватки мастера и, вероятно, художественное отношение к тем трагическим развалинам, освещенным ярко-пурпурным куполом человеческого неба, к тем эмалевым эректеонам и парфенонам, которые он видит там, где профан нащупает лишь дырявый зуб; или о том, что в угловой кондитерской с бисерной занавеской вместо двери пухлая, но легкая, как слоеное тесто, продавщица (живущая в кисейно-белом аду, истыканном черными трупиками мух), которая ему улыбнулась вчера, изошла бы, вероятно, сбитыми сливками, ежели ее сжать в объятьях; или о том, наконец, что в “Пьяном Корабле”, строку из которого он вспомнил, увидев рекламу — слово “левиафан” на стене между мохнатыми стволами двух пальм, — все время слышится интонация парижского гавроша, — зубная боль неотлучно присутствует, являясь оболочкой всякой мысли, и что всякая мысль лежит в люльке боли, ползает с ней и живет в этой боли, с которой она столь же неразрывно срослась, как улитка со своей раковиной. Когда он устремлял все свое сознание на эту боль, стараясь убить нерв ультрафиолетовым лучом разума, он в продолжение нескольких секунд испытывал мнимое облегчение, но тотчас замечал, что он уже не орудует лучом, а думает об его действии и таким образом уже отделен собственной мыслью от объекта ее, отчего боль торжественно и глухо продолжалась, ибо в ней именно было что-то длящееся, что-то от самой сущности времени, или, вернее, оно было связано со временем, как жужжание осенней мухи или треск будильника, который Генриетта некогда не могла ни найти, ни остановить в крошечной темноте его студенческой комнаты. Поэтому Герман, размышляя о предметах, которые в иные минуты...”

“Однако”, — подумал Кречмар, и внимание его стало блуждать. Голос Зегелькранца был очень равномерен и слегка глуховат. Нарастали и проходили длинные предложения. Насколько Кречмар мог понять, Герман шел по бульвару к зубному врачу. Бульвар был бесконечный. Дело происходило в Ницце. Наконец Герман пришел, и тут повествование несколько оживилось, Кречмар, впрочем, чувствовал, что врач будет прав, если Герману сделает больно.

“В приемной, где Герман сел у плетеного столика, на котором лежали, свесив холодные плавники, мертвые белобрюхие журналы и где на камине стояли золотые часы под стеклянным колпаком, в котором изогнутым прямоугольником отражалось окно, за которым были сейчас душное солнце, блеск Средиземного моря, шаги, шуршащие по гравиию, — ждало уже шестеро людей. У окна, на плюшевом стуле, распростерлась огромная женщина в усах, с могучим бюстом, заставляющим думать о кормилицах великанов, исполинских младенцев, уже зубатых, быть может, уже страдающих, как



сейчас страдал Герман. Рядом с этой женщиной сидел, болтая ногами, мальчик, неожиданно щуплый и вовсе не рыжий, — он повторял плачущим голосом: “Дай мне апельсин, кусочек апельсина”, — и было чудовищно представить себе кислое, ледяное тело апельсина, попадающее на больной зуб. Поодаль двое смуглых молодых людей в ярких носках разговаривали о своих делах, у одного щека была повязана черным платком. Но больше всего заинтересовали Германа мужчина и девушка, которые вскоре после него явились, как проходя по темной почве его зубной боли, и сели в углу на зеленый коротко остриженный диванчик. Мужчина был худой, но плечистый, в отличном костюме из клетчатой шерстяной материи, с лицом бритым, бровастым, несколько обезьяньего склада, с большими, заостренными ушами и плотоядным ртом. Та, которую он сопровождал, молоденькая девица в белом джемпере с открытыми до подмышек руками, вдоль которых шла пушистая тень загара, не задевшего, впрочем, нежной выемки внутри сгиба, где сквозь светлую кожу виднелись бирюзовые вены, сидела, сдвинув колени, и было что-то детское в том, что белая плиссированная юбка не доходит до колен, которые хрупкой своею круглотой и тесным телесным переливом шелка крайне мучительно привлекали взгляд. Вот она повернулась в профиль — щека была с ямочкой, и словно приклеенный к виску каштановый серп волос метил загнутым острием в уголок продолговатого глаза. Судя по красочности ее лица и еще по тому, что каждое ее движение волновало воздух горячим дуновением крепких духов, Герман заключил, что она испанка, и в то же время с некоторым недоумением и даже ужасом невольно думал о том, что ее мягкий и яркий рот может как пасть разинуться, безропотно принимая в себя уже мутящееся зеркальце дантиста. Она вдруг заговорила, и немецкая речь в ее устах показалась сперва неожиданной, но почти тотчас Герман вспомнил танцовщицу, уроженку берлинского севера, красивую и вульгарную девчонку, с которой у него была недолгая связь лет десять тому назад. И, несмотря на то, что эти двое были, по всей вероятности, из доброй бюргерской семьи, Герман почему-то почувствовал в них что-то от мюзик-холла или бара, смутную атмосферу сомнительных рассветов и прибыльных ночей. Но, конечно, самое забавное было то, что им в голову не приходило, что Герман, сидящий от них в трех шагах и перелистывающий старый *Illustration*, со смирением и жадностью ловца человеческих душ вбирает каждое их слово, а в этих словах были интонация страстной влюбленности, глухое и напряженное рокотание, которое невозможно было сдержать или скрыть, как у иной певицы, со знаменитым на весь мир контральто, в голосе проскальзывают даже тогда, когда она говорит по телефону с модисткой, драгоценные, смуглые ноты, и, вслушиваясь в их разговор, Герман старался понять, кто они — молодожены или

беглецы-любовники, и никак не мог решить. Она говорила о том, как было упоительно, когда он недавно нес ее на руках по крутой тропинке, и о том, как трудно дожить до вечера, когда она пройдет к нему в номер, и тут следовало что-то очень, по-видимому забавное, смысл коего Герман понять, однако, не мог, — что-то связанное с ванной и бегущей водой и грозящей, но легко устранимой опасностью. Герман слушал сквозь органную музыку боли этот банальный любовный лепет и думал о том, что им не узнать никогда, как точно запечатлел их слова неприметный господин с флюсом, листающий журнал. Вдруг открылась дверь, из нее быстро вышел выпущенный из ада пациент, а на пороге встал, оглядывая собравшихся и медленно намечая пригласительный жест, высокий, страшно худой врач с темными кругами у глаз, — сущий мemento мори. Герман ринулся к нему, хотя знал, что суется не в очередь, и, несмотря на покрики мemento, раздавшиеся в приемной, проник в кабинет, где против окна стояло воскресное, и которого, которые на блеск инструментов, почти на зубовные, любовные постучу-постуча из-за жужжащего, которые перед которыми малиновое небо, большое, энное и прежде того то же что и то, и внизу, и на зу, и тараболь, это было ийственно...”

Он еще читал долго, но уже читал зря — скрежет и шум, шум удаляется, молчание, молчание, он кончил.

“Ну, как тебе нравится, Бруно?” — сказал он, отцепив очки.

Кречмар лежал на спине с закрытыми глазами. Зегелькранц мельком подумал: “Неужели я его усыпил?” — но в это мгновение Кречмар приподнялся.

“Что с тобой, Бруно? Тебе плохо?”

“Нет, — ответил он шепотом. — Это сейчас пройдет”.

“Выпей воды, — сказал Зегелькранц. — Она очень вкусная”.

“Ты с природы?” — невнятно спросил Кречмар.

“Что ты говоришь? “

“Ты с природы писал?”

“Ах, это довольно сложно. Видишь ли, дантиста я взял, у которого был давным-давно. Но он был не дантист, а мозольный оператор. Но вот, например, в приемную я целиком поместил группу людей, которых специально для этого изучил, едучи в поезде. Да, я с ними ехал в одном купе и оттуда преспокойно пересадил их в рассказ, причем заметь — с абсолютной точностью, точность важнее всего”.

“Когда это было — купе?”

“Что ты говоришь?”

“Когда это было — что ты ехал?”

“Не помню, на днях, кажется, когда мы с тобой встретились, — я тут часто разъезжаю. Эти двое черт знает как миловали друг друга — удивительно, что когда иностранцы...”

Он вдруг запнулся, и как это с ним не раз бывало, почувствовал, что происходит какое-то чудовищное недоразумение, и он так покраснел, что все затуманилось.

“Ты их знаешь? — пробормотал он. — Бруно, стой, куда ты...”

Он побежал за Кречмаром и хотел ему заглянуть в лицо. “Отстань, отстань”, — шепотом сказал Кречмар. Зегелькранц отстал. Кречмар завернул по тропинке, его скрыли кусты.

## XXVIII

Он спустился в город; не ускоряя шага, пересек платановую аллею и вошел через холл в гостиницу. Поднимаясь по лестнице, он встретил знакомую старуху-англичанку, она улыбалась ему. “Здравствуйте”, — шепотом сказал Кречмар и прошел. Он прошагал по длинному коридору и вошел в номер. В комнате никого не было. На коврик у постели было пролито кофе, блестела упавшая ложечка. Он исподлобья посмотрел на дверь в ванную. В это мгновение раздался из сада звонкий смех Магды. Кречмар высунулся в окно. Она шла рядом с американцем-теннисистом, помахивая золотой от солнца ракетой. Американец увидел Кречмара в окне третьего этажа. Магда обернулась и посмотрела вверх. Кречмар, беззвучно двигая губами, сделал движение рукой, словно что-то медленно сгребал в охапку. Магда кивнула и побежала в дом. Кречмар тотчас отошел от окна и, присев на корточки, отпер чемодан, поднял крышку, но, вспомнив, что искомое не там, пошел к шкапу и сунул руку в карман автомобильного пальто. Он проверил, вдвинута ли обойма. Затем закрыл шкаф и стал у двери. Сразу, как только она отопрет дверь. (Щуплый ангел надежды, который тянет за рукав даже в минуту беспросветного отчаяния, был едва жив — на что надеяться? Надо сразу, обдумать можно потом.) Он мысленно следил: вот теперь она вошла в гостиницу со стороны сада, вот теперь поднимается на лифте, пятнадцать секунд лишних — если по лестнице, вот сейчас донесется стук каблуков по коридору. Но воображение обгоняло, опережало ее, все было тихо, надо начать сначала. Он держал браунинг, уже подняв его, было чувство, словно оружие — естественное продолжение его руки, напряженной, жаждущей облегчения: нажать вогнутую гашетку.

Он едва не выстрелил прямо в белую еще закрытую дверь в тот миг, когда вдруг послышался из коридора ее легкий резиновый шаг, — да, конечно, она была в теннисных туфлях, — каблуки ни при чем. Сейчас, сейчас... Еще другие шаги.

“Позвольте, сударыня, мне зайти за подносом”, — сказал по-французски голос за дверью. Магда вошла вместе с горничной, — он машинально сунул браунинг в карман.

“В чем дело? Что случилось?” — спросила Магда. — “Зачем ты меня заставляешь бегать наверх?” Он, не отвечая, глядел исподлобья

на то, как горничная ставит на поднос посуду, поднимает ложечку с пола. Вот она все взяла, вот закрылась дверь.

“Бруно, что случилось?”

Он опустил руку в карман. Магда поморщилась, села на стул, стоящий близ кровати, нагнулась и стала расшнуровывать белую туфлю. Он видел ее затылок, загорелую шею. Невозможно стрелять, пока она снимает башмачок. На пятке было красное пятно, кровь просочилась сквозь белый чулок. “Это ужас, как я натерла”, — проговорила она и, оглянувшись на Кречмара, увидела тупой черный пистолет. “Дурак, — сказала она чрезвычайно спокойно. — Не играй с этой штукой”.

“Встань! Слышишь?” — как-то зашушукал Кречмар и схватил ее за кисть.

“Я не встану, — ответила Магда, свободной рукой спуская с ноги чулок. — И вообще, отстань — у меня страшно болит, все присохло”.

Он тряхнул ее так, что затрещал стул. Она схватилась за решетку кровати и стала смеяться.

“Пожалуйста, пожалуйста, убей, — сказала она. — Но это будет то же самое, как эта пьеса, которую мы видели, с чернокожим, с подушкой...”

“Ты лжешь, — зашептал Кречмар. — Ты лжешь, все оплевано, все исковеркано... Ты и этот негодяй...” Он оскалился, верхняя губа дергалась — заикался и не мог попасть на слово.

“Пожалуйста, убери. Я тебе ничего не скажу, пока ты не уберешь. Я не знаю, что случилось, но я знаю одно — я тебе верна, я тебе верна...”

“Хорошо, — проговорил Кречмар. — Да-да, дам тебе высказаться, а потом застрелю”.

“Не нужно меня убивать, уверяю тебя, Бруно”.

“Дальше, дальше, поторопись!”

(“...Если я сейчас очень быстро задвигаюсь, — подумала она, — то успею выбежать в коридор. Он может не успеть попасть, сразу начну орать, и сбегутся люди. Но тогда все пойдет насмарку, все...”)

“Я не могу говорить, пока у тебя пистолет. Пожалуйста, спрячь его”.

(“А если выбить у него из руки?”)

“Нет, — сказал Кречмар. — Сперва ты мне признаешься... Мне донесли, я все знаю...”

“Я все знаю, — продолжал он срывающимся голосом, шагая по комнате и ударяя краем ладони по мебели. — Я все знаю. Ведь это поразительно смешно: облысел и видел вас в вагоне, вы вели себя как любовники. Ванная — как удобно, заперлась и перешла, нет, я тебя, конечно, убью”.

“Да, я так и думала, — сказала Магда. — Я знала, что ты не поймешь. Ради Бога, убери эту штуку, Бруно!”

“Что тут понимать! — крикнул Кречмар. — Что тут можно объяснить!”

“Во-первых, Бруно, ты отлично знаешь, что он к женщинам равнодушен...”

“Молчать! — заорал Кречмар. — Это с самого начала — пошлая ложь, шулерское изощрение!”

(“Ну, если он кричит, все хорошо”, — подумала Магда.)

“Нет, это все же именно так, — сказала она. — Но однажды я ему в шутку предложила. Знаете что? Я вас растормошу. Мы будем друг другу говорить нежности, и вы своих мальчиков забудете. Ах, мы оба знали, что это все пустое. Вот и все, вот и все, Бруно!”

“Пакостное вранье. Я не верю. Вы говорили о том, что ты к нему перебегаешь в номер, пока... пока льется вода. И это слышал писатель, человек, который...”

“Ах, мы часто так играли, — развязно проговорила Магда. — Правда, ничего из этого не выходило, но было очень смешно. Я не отрицаю про ванную. Я сама ему сказала, что если мы были бы влюблены друг в друга, то было бы очень ловко и просто — переходный пункт, — а твой писатель — дурак”.

“Так ты, может быть, и жила с ним в шутку? Пакость какая, Боже мой!”

“Конечно, нет. Как ты смеешь? Он бы просто не сумел. Мы с ним даже не целовались, это уже противно”.

“А если я спрошу его об этом — без тебя, конечно, без тебя”.

“Ах, пожалуйста! Он тебе скажет то же самое. Только, знаешь, выйдет немножко глупо”.

В этом духе они говорили битый час. Магда крепилась, крепилась, но наконец не выдержала, с ней сделалась истерика. Она лежала ничком на постели, в своем белом нарядном теннисном платье, босая на одну ногу, и, постепенно успокаиваясь, плакала в подушку. Кречмар сидел в кресле у окна, за которым были солнце, веселые английские голоса с тенниса, и перебирал все, что произошло, все мелочи с самого начала знакомства с Горном, и среди них вспоминались ему такие, которые теперь освещены были тем же мертвенным светом, каким нынче катастрофически озарилась жизнь: что-то оборвалось и погубило навсегда, — и как бы яснооко, правдоподобно не доказывала ему Магда, что она ему верна, всегда отныне будет ядовитый привкус сомнения. Наконец он встал, подошел к ней, посмотрел на ее сморщенную розовую пятку с черным квадратом пластыря, — когда она успела наклеить? — посмотрел на золотистую кожу нетолстой, но крепкой икры и подумал, что может убить ее, но расстаться с нею не в силах. “Хорошо, Магда, — сказал он угрюмо. — Я тебе верю. Но только ты сейчас встанешь,

переоденешься, мы уложим вещи и уедем отсюда. Я сейчас физически не могу встретиться с ним, я за себя не ручаюсь, нет, не потому, что я думаю, что ты мне изменила с ним, не потому, но, одним словом, я не могу — слишком я живо успел вообразить, и то, что мне читал Зегелькранц, слишком тоже было выпукло. Ну, вставай...”

“Поцелуй меня”, — тихо сказала Магда.

“Нет, не сейчас, я хочу поскорее отсюда уехать... я тебя чуть не убил в этой комнате, и, наверное, убью, если мы сейчас, сейчас же не начнем собирать вещи”

“Как тебе угодно, — сказала Магда. — Только ты подумай, какво мне, — конечно, неважно, что я оскорблена тобой и твоим милым Розенкранцем. Ну, ладно, ладно, давай укладываться”.

Молча и быстро, не глядя друг на друга, они наполнили чемоданы, горничная принесла счет, мальчик пришел за багажом.

Горн играл в покер на террасе, под тенью платана. Ему очень не везло. Только что он попался с так называемой “полной рукой” против “масти” и “карре”. Он уже подумывал, не бросить ли и не пойти ли проведать на теннисе Магду, которая прилежно отправилась учиться бэк-хэнду у американского игрока, — он уже серьезно подумывал об этом, как вдруг сквозь кусты сада по дороге около гаража увидел автомобиль Кречмара; автомобиль неуклюже взял поворот и скрылся. “В чем дело, в чем дело...” — пробормотал Горн и, расплатившись (он проиграл немало), пошел искать Магду. На теннисе ее не оказалось. Он поднялся наверх. Дверь в номер Кречмара была открыта. Пусто, валяются листы газет, обнажен красный матрас на двуспальной кровати.

Он потянул нижнюю губу двумя пальцами по скверной своей привычке и прошел в свою комнату, предполагая, что найдет там записку. Записки никакой не было. Недоумевая, он спустился в холл. Молодой черноволосый француз с орлиным носом, некий Monsieur Martin, не раз танцевавший с Магдой, посмотрел через газету на Горна и, улыбнувшись, сказал: “Жалко, что они уехали. Почему так внезапно? Назад в Германию?” Горн издал неопределенно-утвердительный звук.

## XXIX

Есть множество людей, которые, не обладая специальными знаниями, умеют, однако, и воскресить электричество после таинственного события, называемого “коротким замыканием”, и починить ножичком механизм остановившихся часов, и нажарить, если нужно, котлет. Кречмар к их числу не принадлежал. В детстве он ничего не строил, не мастерил, не склеивал, как иные ребята. В юности он ни разу не разобрал своего велосипеда и, когда лопалась шина, катил хромую, пищащую, как дырявая галоша, машину в ремонтное заведение. На войне он славился удивительной нерасторопностью, неумением ничего сделать собственными руками. Изучая реставрацию картин, паркетацию, рантуалацию, он сам боялся к картине прикоснуться. Не удивительно поэтому, что автомобилем, например, он управлял прескверно.

Медленно и не без труда выбравшись из Ружинара, он чуть-чуть подбавил ходу, благо шоссе было прямое и пустынное. О том, что именно происходит в недрах машины, почему вертятся колеса, он не имел ни малейшего понятия, — знал только действие того или иного рычага.

“Куда мы, собственно, едем?” — спросила Магда, сидевшая рядом.

Он пожал плечами, глядя вперед на белую дорогу.

Теперь, когда они выехали из Ружинара, где улочки были полны народу, где приходилось трубить, судорожно запинаться, косолаповить, теперь, когда они уже свободно катили по шоссе, Кречмар беспорядочно и угрюмо думал о разных вещах: о том, что дорога постепенно идет в гору, и, вероятно, сейчас начнутся повороты, о том, как Горн запутался пуговицей в Магдиных кружевах, о том, что еще никогда не было у него так тяжело и смутно на душе.

“Мне все равно куда, — сказала Магда, — но я хотела бы знать. И пожалуйста, держись правой стороны, ты черт знает как едешь”.

Он резко затормозил, только потому, что невдалеке появился автобус.

“Что ты делаешь, Бруно? Просто держись правее”.

Автобус с туристами прогремел мимо. Кречмар отпустил тормоз.



“Не все ли равно куда? — думал он. — Куда ни поедешь, от этой муки не избавишься. Как мерзко зеленеют эти холмы. Они черт знает как миловали друг друга...”

“Я тебя ни о чем не буду больше спрашивать, — сказала Магда, — только, ради Бога, труби перед поворотами. У меня голова болит. Я хочу куда-нибудь доехать наконец”.

“Ты мне клянешься, что ничего не было?” — хрипло проговорил Кречмар и сразу почувствовал, как слезы горячей мутью застилают зрение. Он заморгал, дорога опять забелела.

“Клянусь, — сказала Магда. — Я устала клясться. Убей меня, но больше не мучь. И знаешь, мне жарко, я сниму пальто”.

Он затормозил, остановились.

Магда засмеялась: “Почему для этого, собственно говоря, нужно останавливаться? Ах, Бруно...”

Он помог ей освободиться от кожаного пальто, причем с необычайной живостью вспомнил, как давным-давно, в дрянном кафе, он в первый раз увидел, как она двигает лопатками и плечами, сгибает прелестную шею, вылезая из рукавов пальто.

Теперь у него слезы лились по щекам неудержимо. Магда обняла его за шею и прижалась щекой к его склоненной голове.

Автомобиль стоял у самого парапета, толстого каменного парапета, за которым был обрыв, поросший ежевикой, и в глубине бежала вода; с левой же стороны поднимался скалистый склон с соснами на верхушке. Палило солнце, трещали кузнечики; далеко впереди раздавался звон и стук, человек в темных очках бил камни, сидя при дороге. Прокатил открытый, очень пыльный “рольсройс”, и откуда-то ответило эхо на его гудок.

“Я тебя так люблю, — всхлипывая, говорил Кречмар. — Я тебя так, так люблю”. Он судорожно мял ее руки, гладил по спине, и она тихо и нежно посмеивалась. Затем длительно поцеловал ее в губы.

“Дай мне теперь самой управлять, — попросила Магда. — Я ведь научилась лучше тебя”.

“Нет, я боюсь, — сказал он, улыбаясь и вытирая слезы. — И знаешь, я по правде не знаю, куда мы едем, но ведь это забавно — наугад”.

Он пустил мотор, тронулись снова. Ему показалось, что теперь машина идет свободнее и послушнее, и он стал держать руль не так напряженно. Излучины дороги все учащались — с одной стороны отвесно поднималась скалистая стена, с другой был парапет, солнце било в глаза, стрелка скорости вздрагивала и поднималась.

Приближался крутой вираж, и Кречмар решил его взять особенно тихо. Наверху, высоко над дорогой, старуха собирала ароматные

травы и видела, как справа от скалы мчался к повороту этот маленький черный автомобиль, а слева, на неизвестную еще встречу, двое сгорбленных велосипедистов.

### XXX

Старуха, собирающая на пригорке ароматные травы, видела, как с разных сторон близятся к быстрому виражу автомобиль и двое велосипедистов. Из люльки яично — желтого почтового дирижабля, плывущего по голубому небу в Тулон, летчик видел петлистое шоссе, овальную тень дирижабля, скользящую по солнечным склонам, и две деревни, отстоящие друг от друга на двадцать километров. Быть может, поднявшись достаточно высоко, можно было бы увидеть зараз провансальские холмы и, скажем, Берлин, где тоже было жарко, — вся эта щека земли, от Гибралтара до Стокгольма, озарялась в этот день улыбкой прекрасной погоды. Берлин, в частности, успешно торговал мороженым; Ирма, бывало, шалела от счастья, когда уличный торговец близ белого своего лотка лопаткой намазывал на тонкую вафлю толстый, сливочного оттенка, слой, от которого сладко ныли передние зубы и начинал танцевать язык. Аннелиза, выйдя утром на балкон, заметила как раз такого мороженника, и странно было, что он — весь в белом, а она — вся в черном. В то утро она проснулась с чувством сильнейшего беспокойства и теперь, стоя на балконе, спохватилась, что впервые вышла из состояния матового оцепенения, к которому за последнее время привыкла, но сама не могла понять, чем нынче так странно взволнована. Она вспомнила вчерашний день, совершенно обыкновенный — деловитую поездку на кладбище, пчел, садившихся на цветы, которые она привезла, влажное поблескивание буковой ограды, ветерок, тишину, мягкую зелень. “Так в чем же дело? — спросила она себя. — Как это странно”. С балкона был виден мороженник в белом колпаке. Солнце ярко освещало крыши — в Берлине, в Париже и дальше, на юге. Желтый дирижабль плыл в Тулон. Старуха собирала над обрывом ароматные травы; рассказов хватит на целый год: “Я видела... Я видела...”

## XXXI

Кречмару было неясно, когда и как он узнал, распределил, осмыслил все эти сведения: время, которое прошло от выража до сих пор (несколько недель), место его теперешнего пребывания (больница в Ментоне), операция, которой он подвергся (трепанация черепа), причина долгого беспометства (кровоизлияние в мозг). Настала, однако, определенная минута, когда эти сведения оказались собраны воедино, — он был жив, отчетливо мыслил, знал, что поблизости Магда и французенка-сиделка, знал, что последнее время приятно дремал и что сейчас проснулся... а вот который час — неизвестно, вероятно, раннее утро. Лоб и глаза еще покрывала повязка, мягкая на ощупь; темя же уже было открыто, и странно было трогать частые колючки отрастающих волос. В памяти у него, в стеклянной памяти, глянцевиго переливался как бы цветной фотографический снимок: загиб белой дороги, черно-зеленая скала слева, справа — синеватый парапел, впереди — вылетевшие навстречу велосипедисты — две пыльные обезьяны в красно-желтых фуфайках; резкий поворот руля, автомобиль взвился по блестящему скату щебня, и вдруг, на одну долю мгновения, вырос чудовищный телеграфный столб, мелькнула в глазах растопыренная рука Магды, и волшебный фонарь мгновенно потух. Дополнялось это воспоминание тем, что вчера, или третьего дня, или еще раньше — когда, в точности не известно, — рассказала ему Магда, вернее Магдин голос, почему только голос? почему он ее так давно не видел по-настоящему? да, повязка, скоро, вероятно, можно будет снять... Что же Магдин голос рассказывал? "...если бы не столб, мы бы, знаешь, бух через парапел в пропасть. Было очень страшно. У меня весь бок в синяках до сих пор. Автомобиль перевернулся — разбит вдребезги. Он стоил все-таки двадцать тысяч марок. Auto ... mille, beaucoup mille marks — (обратилась она к сиделке) — vous comprenez? Бруно, как по-французски двадцать тысяч?" "Ах, не все ли равно... Ты жива, ты цела". "Велосипедисты оказались очень милыми, помогли все собрать, портплед, знаешь, полетел в кусты, а ракеты так и пропали". Отчего неприятно? Да, этот ужас в Ружинаре. Он с браунингом в руке, она входит — в

теннисных туфлях... Глупости, все разъяснилось, все хорошо... Который час? Когда можно будет снять повязку? Когда позволят вставать с постели? Слабость... Все это было, должно быть, в газетах, в немецких газетах.

“Авто... тысяча, много марок... Вы понимаете?” (ломан. франц.).

Он повертел головой, досадуя на то, что завязаны глаза. Слуховых впечатлений было набрано за это время сколько угодно, а зрительных никаких — так что в конце концов не известно, как выглядит палата, какое лицо у сиделки, у доктора... Который час? Утро? Он выспался, окно, верно, открыто, ибо вот слышно, как процокали неторопливо копыта, а вот — шум воды, звон ведра — там, должно быть, двор, фонтан, утренняя свежая тень платанов. Он полежал некоторое время неподвижно, стараясь обращать невнятные звуки в соответствующие цвета и очертания, и вскоре услышал звуки другие — голоса Магды и сиделки в соседней, вероятно, комнате. Сиделка учила Магду правильно произносить. “Soucoure. Soucoure”, — повторила Магда несколько раз и засмеялась.

“Блюдце, блюдце” (франц.).

Неуверенно улыбаясь, чувствуя, что он делает что-то противозаконное, Кречмар осторожно освободил и поднял на брови повязку: оказалось, однако, что в комнате густая, бархатная темнота — не видать даже, где окно, нет ни малейшей щелки света. Значит, все-таки ночь, и притом безлунная, черная. Вот как обманывают звуки.

Весело звякнуло по соседству блюдце. “Cafe the non. Moi pas — tee”.

“Кофе — нет. Лучше чаю” (ломан. франц.).

Кречмар нащупал рядом столик, наткнулся на лампочку. Он щелкнул — раз, еще раз, — но темнота не сдвинулась с места: штепсель, вероятно, не был вставлен. Тогда он поискал пальцами, нет ли спичек, — и действительно, нашел коробок. В нем была всего одна спичка, он чиркнул ею, раздался звук, похожий на вспышку, но огонька не появилось. Он ее отбросил и почувал вдруг легкий запах горелого.

Странное явление...

“Магда, — позвал он громко. — Магда!”

Звук шагов и открывающейся двери. Но ничто не изменилось — за дверью было тоже темно.

“Зажги свет, — сказал он. — Пожалуйста, света”.

“Не смей трогать повязку, Бруно! — крикнул голос Магды, стремительно и уверенно приближаясь в беспросветном мраке. — Ведь доктор сказал... ах, Господи!”

“Как, как ты меня видишь? — спросил он заикаясь. — Я не... Моментально зажги свет. Слышишь? Моментально!”

“Тише, тише, не волнуйтесь”, — заговорил по-французски голос сиделки.

Эти звуки, эти шаги, эти голоса двигались как бы в другой плоскости. Он был сам по себе, и они — сами со себе. И между ними и той темнотой, в которой он пребывал, существовала какая-то плотная преграда. Он напрягся, пялился, тер веки, вертел головой так и сяк, рвался куда-то, но не было никакой возможности проткнуть эту цельную темноту, являвшуюся как бы частью его самого.

“Не может быть, — с силой сказал Кречмар. — Я сойду с ума. Открой окно, сделай что-нибудь...”

“Окно открыто”, — ответила она тихо.

“Может быть, солнца нет... Магда, может быть, когда будет солнце, я хоть что-нибудь увижу... Хотя бы мерцание... Может быть, очки...”

“Лежи спокойно, Бруно. Дело не в солнце. Тут светло, чудное утро, Бруно, ты мне делаешь больно”.

“Я...Я...” — судорожно набирая воздух, начал Кречмар и, набрав воздуха, стал равномерно кричать.

## XXXII

Сознание полной слепоты едва не довело Кречмара до помешательства. Раны и ссадины зажили, волосы отросли, но адовое ощущение плотной, черной преграды оставалось неизменным. После припадков смертельного ужаса, после криков и метаний, после тщетных попыток сдернуть, сорвать что-то с глаз он впадал в полубморочное состояние, а потом снова начинало нарастать что-то паническое, нестерпимое, сравнимое только с легендарным смятением человека, проснувшегося в могиле.

Мало-помалу, однако, эти припадки стали реже, он часами молчал, неподвижно лежа на спине и слушая звуки провансальского дня, но вдруг он вспоминал утро в Ружинаре, с которого все, собственно говоря, и началось, и тогда принимался стонать, вспоминая уже другое — небо, зеленые холмы, на которые он так мало, так мало смотрел, и опять поднималась волна могильного ужаса.

Еще в ментонском госпитале Магда прочла ему вслух письмо от Горна из Парижа такого содержания:

“Я не знаю, Кречмар, чем я был больше ужален — тем ли оскорблением, которое Вы мне нанесли Вашим внезапным, беспричинным и крайне неучтивым отъездом, или бедой, приключившейся с Вами. Несмотря на обиду, которая не позволяет мне даже навестить Вас, я, поверьте, всей душой скорблю о Вас, особенно когда вспоминаю Вашу любовь к живописи, к роскошным краскам и утонченным оттенкам, ко всему тому, что делает зрение божественным подарком свыше. Есть люди (Вы и я принадлежим к их числу), которые живут именно глазами, зрением, — все остальные чувства только послушная свита этого короля чувств.

Сегодня я из Парижа уезжаю в Англию, а оттуда в Нью-Йорк и вряд ли скоро увидаю опять родную страну. Передайте мой дружеский привет Вашей спутнице, от капризного нрава которой — кто знает? — быть может, зависела Ваша, Кречмар, измена мне, — да, ибо нрав ее лишь по отношению к Вам отличается постоянством, зато в натуре у нее есть свойство — очень, впрочем, обыкновенное у женщин — невольно требовать поклонения и невольно проникаться чувством смутной неприязни к мужчине, равнодушному к женским чарам, даже если этот мужчина простосердечностью своей, уродливой наружностью и любовными вкусами смешон и противен ей. Поверьте, Кречмар, что, если бы Вы, пожелав отделаться от

моего присутствия, надоевшего Вам обоим, сказали мне это без обиняков, я только оценил бы Вашу прямоту, и тогда прекрасное воспоминание наших бесед о живописи, о прозрачных красках великих мастеров не было бы так печально омрачено тенью Вашего предательского бегства”.

“Да, это — письмо гомосексуалиста, — сказал Кречмар. — Все равно, я рад, что он отбыл. Может быть, Бог меня наказал, Магда, за то, что я тебя заподозрил, но горе тебе, если...”

“Если что, Бруно? Пожалуйста, пожалуйста, договаривай”.

“Нет, ничего. Я верю тебе. Ах, я верю тебе”.

Он помолчал и вдруг стал издавать тот глухой звук, полустон, полумычание, которым у него всегда начинался приступ ужаса перед стеной темноты.

“Прозрачные краски, — повторил он несколько раз нутряным, дрожащим голосом. — Да, да, прозрачные краски!”

Когда он успокоился, Магда сказала, что поедет обедать, поцеловала его в щеку и быстро засемила по теневой стороне улицы. Она вошла в маленький прохладный ресторан и села за мраморный столик в глубине. За соседним столиком сидел Горн и пил белое вино.

“Пересядь ко мне, — сказал он. — Какая ты стала трусиха!”

“Заметят и донесут”, — ответила она опасливо, но все же пересела к нему.

“Пустяки. Кому какое дело? Ну, что он сказал на письмо? Правда, составлено великолепно?”

“Да, все хорошо. В среду мы едем в Цюрих к специалисту. Ты возьми, пожалуйста, три спальных места. Только себе ты возьми в другом вагоне — как-никак безопаснее”.

“Даром не дадут”, — лениво процедил Горн.

“Бедный мой”, — нежно усмехнулась Магда. И вынула пачку денег из своей сумочки.



### XXXIII

Хотя Кречмар уже несколько раз (глубокой ночью, полной дневных звуков) выходил на прогулку в небольшой сад госпиталя, к путешествию в Цюрих он оказался малоподготовленным. На вокзале у него закружилась голова — и ничего нет страшнее и безвыходнее, чем когда у слепого головокружение, — он шалел от множества звуков вокруг него, шагов, голосов, стуков, от боязни наткнуться на что-нибудь, даром что вела его Магда. В поезде его поташнивало оттого, что он никак не мог мысленно отождествить вагонную тряску с поступательным движением экспресса, как бы мучительно не напрягал воображение, стараясь представить себе пробегающий ландшафт. Еще было хуже, когда оказались в Цюрихе и приходилось куда-то двигаться среди невидимых людей и несуществующих, но постоянно чуемых им перегородок, выпирающих углов. “Не бойся, не бойся, — говорила Магда с раздражением. — Я тебя веду. Вот теперь стоп. Сейчас сядем в автомобиль. Да чего ты боишься, в самом деле, — прямо как маленький”.

Профессор, знаменитый окулист, долго, при помощи особого зеркальца, осматривал дно его глаза, и, судя по жирному и маленькому его голосу, Кречмар представил его себе карапузистым старичком, хотя в действительности профессор был очень худ и моложав. Он повторил то, что Кречмар отчасти уже знал, — что вследствие кровоизлияния произошло сдавление глазных нервов как раз там, где они скрещиваются в мозгу, — быть может, сососется быть может, наступит полная атрофия и т. д., и т. д., но во всяком случае общее состояние Кречмара таково, что сейчас наиболее важным является совершенный для него покой, следует пожить два-три месяца уединенно и тихо, лучше всего где-нибудь в горах, а затем, сказал профессор, затем — будет видно...

“Будет видно?” — повторил за ним Кречмар с угрюмой усмешкой (какой каламбур).

Магда, оставив его одного в номере гостиницы, посетила несколько контор, ей дали адреса; посоветовавшись с Горном, она выбрала место и поехала, с Горном же, посмотреть на сдаваемое там шале. Это оказалась двухэтажная дачка, с чистыми комнатками, ко всем дверям были приделаны чашечки для святой воды. Дачка принадлежала нелюдимой ирландской чете, уехавшей на лето в Норвегию, и сдавалась недешево. Горн оценил ее расположение —

на юру, среди ельника, в стороне от деревни — и, наметив для себя самую солнечную комнату в верхнем этаже, велел Магде домишко снять. Затем, в деревне, они наняли кухарку. Горн с ней поговорил очень внушительно. Он сказал: “Высокое жалование, которое вам предлагается, объясняется тем, что вы будете служить у человека, страдающего слепотой на почве душевного расстройства. Я — врач, приставленный к нему, — но, ввиду тяжелого его состояния, он, разумеется, не должен знать, что, кроме его племянницы, живет при нем доктор. Посему, тетушка, ежели вы, хотя бы косвенно, хотя бы нежнейшим шепотком, хотя бы в разговоре вот, скажем, с барышней на кухне, упомянете вслух о моем пребывании в доме, вы будете ответственны перед законом за нарушение образа лечения, установленного врачом, — это карается в Швейцарии довольно, кажется, строго. Вдобавок, я не советую вам входить в комнату к моему пациенту или вообще вести с ним какие-либо разговоры: на него находят припадки бешенства, он уже одну старушку совершенно замял и растоптал, и я бы не желал, чтобы это повторилось. А главное — когда будете болтать на базаре, помните, что, если вследствие разбуженного вами любопытства к нам станут шляться местные обыватели, мой пациент, при нынешнем его состоянии, может разнести дом... Поняли?”

Старуху он так запугал, что она едва не отказалась от выгодного места и согласилась только тогда, когда Горн заверил ее, что слепого безумца она видеть не будет, что он тих, если его не раздражать, и находится постоянно под наблюдением племянницы и врача.

Первым въехал Горн. Он перевез весь багаж, определил, где будет жить, распорядился вынести ненужные ломкие вещи, и, когда все было устроено, поднялся к себе в комнату и, музыкально посвистывая, стал прибивать кнопками к стене кое-какие рисунки пером довольно непристойного свойства — эскизы к иллюстрациям, заказанным ему в Берлине художественно-порнографическим издательством. Около пяти он увидел в бинокль, как подъехал далеко внизу наемный автомобиль, оттуда в ярко-красном джемпере выскочила Магда, помогла выйти Кречмару, он был в темных очках и походил на сову. Автомобиль попятился, рванулся опять вперед и скрылся за поворотом. Магда взяла Кречмара под руку, и он, водя перед собой палкой, двинулся вверх по тропинке. На некоторое время их скрыла еловая хвоя, вот мелькнули опять, опять скрылись, и вот наконец появились на площадке сада, где мрачная, но уже всей душой преданная Горну кухарка опасливо вышла к ним навстречу и, стараясь не глядеть на безумца, взяла из рук Магды несессер.

Горн меж тем, свесившись из верхнего окна, делал Магде смешные знаки приветствия, прижимая ладонь к груди, — деревянно

раскидывал руки и кланялся, как Петрушка, — все это проделывалось, конечно, совершенно безмолвно. Магда снизу улыбнулась ему и, под руку с Кречмаром, вошла в дом.

“Поведи меня по всем комнатам и все рассказывай”, — произнес Кречмар. Ему было все равно, но он думал этим доставить ей удовольствие — она любила новоселье.

“Маленькая столовая, маленькая гостиная, маленький кабинет”, — объясняла Магда,водя его по комнатам нижнего этажа. Кречмар трогал мебель, ощупывал предметы, старался ориентироваться.

“Окно, значит, там”, — говорил он, доверчиво показывая пальцем на сплошную стену. Он больно ударился ляжкой о край стола и сделал вид, что это он нарочно, — забродил ладонями по столу, будто устанавливал его размер.

Потом они вдвоем пошли вверх по деревянной скрипучей лестнице, и наверху, на последней ступеньке, сидел Горн и тихо трясся от беззвучного смеха. Магда погрозила ему пальцем, он осторожно встал и отступил на цыпочках: ненужная мера, ибо лестница оглушительно стреляла под тяжелыми шагами слепца.

Вошли в коридор; Горн, стоя в глубине у своей двери, показал на эту дверь, и Магда кивнула. Он несколько раз присел, зажимая ладонью рот. Магда сердито тряхнула головой — опасные игры, он на радостях паясничал, как мальчишка. “Вот твоя спальня, а вот — моя”, — говорила она, открывая поочередно двери. “Почему не вместе?” — с грустью спросил Кречмар. “Ах, Бруно, ты знаешь, что сказал профессор...” После того как они всюду побывали (кроме комнаты Горна), он захотел опять, в обратном порядке, уже без ее помощи, обойти дом, чтобы доказать ей, как она ясно все объяснила, как он все ясно усвоил. Однако он сразу запутался, тыкался в стены, виновато улыбался, чуть не разбил умывальную чашку. Ткнулся он и в угловую комнату (где устроился Горн), вход туда был только из коридора, но он уже совершенно заплутал и думал, что выходит из своей спальни. “Твоя комнатка?” — спросил он, нащупывая дверь. “Нет, нет, тут чулан, — сказала Магда. — Ты, ради Бога, запомни, а то голову разобьешь. И вообще, я не знаю, хорошо ли тебе так много ходить, — ты не думай, что я позволю тебе всегда путешествовать так — это только сегодня...”

Впрочем, он сам чувствовал уже изнеможение. Магда уложила его. Когда он уснул, она перешла к Горну. Еще не изучив акустики дома, они говорили шепотом, но могли бы говорить громко: оттуда до спальни Кречмара было достаточно далеко.

## XXXIV

После того как Кречмар так поспешно и ужасно скрылся за поворотом тропинки, Зегелькранц со своей злосчастной черной тетрадью в руке долго еще сидел на мураве под соснами и мучительно соображал. Кречмар путешествовал как раз с этой описанной четой, любовный лепет этой четы был для Кречмара потрясающим откровением — вот все, что понял Зегелькранц, и сознание, что он совершил чудовищную бестактность, поступил в конце концов как самодовольный хам, заставляло его сейчас мычать сквозь стиснутые зубы, морщиться, встряхивать пальцами, словно он ошпарился. Такие гаффы непоправимы: не пойти же в самом деле к Кречмару с извинениями; человек, по неловкости ранивший из ружья ни в чем не повинного спутника, не говорит же ему “виноват”.

И вот написанное им уже казалось Зегелькранцу не литературой, а грубым анонимным письмом, в котором подлая правда приправлена ухищрениями витиеватого слога. Его предпосылка, что следует воспроизводить жизнь с беспристрастной точностью, метод его, который еще вчера мнился ему единственным способом навсегда задержать на странице мгновенный облик текущего времени, — теперь казались ему чем-то до невозможности топорным и безвкусным. Он попытался утешить себя, что так грубо и гадко вышло потому, что он именно отступил от своих аккуратных правил, чуть-чуть передернул, переселил намеченных лиц из проклятого вагона в приемную дантиста, и что если бы он описал действительно пациентов ментонского зубного врача, *Monsieur Lhomme*, то в их число не попала бы эта ненужная чета. Утешение, впрочем, было фальшивое, литераторское, суть дела была важнее и отвратительнее: оказывалось, что жизнь мстит тому, кто пытается хоть на мгновение ее запечатлеть, — она останавливается, вульгарным жестом уткнув руки в бока, словно говорит: “пожалуйста, любуйтесь, вот я какая, не пеняйте на меня, если это больно и противно”. “Надо же было, чтобы случилось такое совпадение”, — жалобно возражал себе Зегелькранц, хотя уже понимал, что совпадения никакого особенного нет, и что гораздо удивительнее, что такая вещь не произошла с ним раньше, и что, например, не избил его до сих пор отец молодой девушки, за которой он полгода ухаживал и которую затем с изысканной подробностью вывел в многословной новелле.

Невозможно было встретиться с Кречмаром, следовало покинуть на время очаровательный Ружинар, и так как Зегелькранц был человек истерический, он покинул Ружинар в тот же день и больше месяца провел в долинах восточных Пиренеев. Это его успокоило. Он уже стал подумывать о том, что дело, может быть, все-таки не так страшно и что, пожалуй, даже лестна уверенность, с которой Кречмар узнал описанных людей. Он вернулся в Ружинар и, чувствуя наплыв редкой смелости — тоже истерической, — отправился прямо в гостиницу, где он думал найти Кречмара. Там из случайного разговора со знакомым (это был все тот же Monsieur Martin, черноволосый с орлиным носом), он узнал о бегстве Кречмара, о катастрофе. “Il vivait ici avec sa poule, — добавил Martin со знающей улыбкой. — Une petite queue tres jolie, qui le trompait avec ce pince-sans-rire, cette espece de peintre, un Monsieur Korn ou Horn, Argentin je crois ou bien Hongrois”.

“Он жил здесь со своей курочкой, со своей симпатичной журавушкой, которая ему изменяла с этим угрюмым зябликом, каким-то художником, господином Корном или Горном — не то аргентинцем, не то — скорее всего — венгром” (франц.).

Тогда он метнулся в Ментону, но в госпитале узнал, что Кречмара любовница увезла не то в Швейцарию, не то в Германию. Зегелькранц был теперь в таком состоянии нервного ужаса, что ему казалось, что он сойдет с ума. Рукопись он свою разорвал с такой силой, что чуть не вывихнул себе пальцев, по ночам его терзали кошмары: он видел Кречмара с полуоторванным черепом, с висящими на красных нитках глазами, который кланялся ему в пояс и слащаво страшно приговаривал: “Спасибо, старый друг, спасибо”. Остаться в Ружинаре было невозможно. И внезапно с той судорожной суетливостью, которая в нем заменяла решимость, Зегелькранц отправился в Берлин.

## XXXV

Зегелькранц ошибался, думая, что Кречмар, коли еще жив, вспоминает о нем с отвращением и ненавистью. Кречмар не вспоминал его вовсе, ибо запрещал себе возвращаться к той нестерпимой минуте изумления, гибели смертельной тоски, — там, на тенистом холму, у журчащего источника... Плотный бархатный мешок, в котором он теперь существовал, давал некий строгий, даже благородный строй его мыслям и чувствам. Гладким покровом тьмы он был отделен от недавней очаровательной, мучительной, ярко-красочной жизни, прервавшейся на головокружительном вираже. Питаясь воспоминаниями о ней, он словно перебирал миниатюры: Магда в узорном переднике, приподнимающая портьеру, Магда под блестящим зонтиком, проходящая по малиновым лужам, Магда, стоящая голою перед зеркалом и грызущая желтую булочку, Магда в лоснящемся трико или в переливчатом бальном платье, с загорелыми оранжевыми руками. Затем он думал о жене, и вся эта пора жизни с Аннелизой пропитана была нежным бледным светом, и только изредка в этом молочном тумане что-то вспыхивало на миг — белокурая прядь волос при свете лампы, блик на раме картины, стеклянный шарик, которым играла дочь, — и снова — опаловый туман, и в нем — тихие, как бы плавательные движения Аннелизы. Все, даже самое грустное и стыдное в прошлой жизни, было прикрыто обманчивой прелестью красок, его душа жила тогда в перламутровых шорах, он не видел тех пропастей, которые открылись ему теперь. Да и полно, умел ли он до конца пользоваться даром острого зрения. Он с ужасом замечал теперь, что, вообразив, скажем, пейзаж, среди которого однажды пожил, он не умеет назвать ни одного растения, кроме дуба и розы, ни одной птицы, кроме вороны и воробья. Кречмар теперь понимал, что он, в сущности, ничем не отличался от тех узких специалистов, которых некогда так презирал, от рабочего, знающего только свою машину, от виртуоза, ставшего лишь придатком к музыкальному инструменту. Специальностью Кречмара было в конце концов живописное любострастие. Лучшей его находкой была Магда. А теперь от Магды остались только голос, да шелест, да запах духов — она как бы вернулся в ту темноту (темноту маленького кинематографа), из которой он ее когда-то извлек.

Не всегда, впрочем, Кречмар мог утешаться нравственными рассуждениями, не всегда удавалось ему себя убедить, что физическая слепота есть в некотором смысле духовное прозрение. Напрасно он обманывал себя тем, что ныне его жизнь с Магдой счастливее, глубже и чище, напрасно думал о ее трогательной преданности. Конечно, это было трогательно, конечно, она была лучше самой верной жены, эта незримая Магда, этот ангельский холодок, этот голос, уговаривающий его не волноваться... Но как только он ловил в кромешной тьме пугливую руку и старался выразить свою благодарность, в нем сразу просыпалась такая жажда ее узреть, что всякая мораль летела к черту, он чувствовал, как надвигается безумие, лицо его дергается, он мучительно пытался родить свет. Под предлогом, что всякое волнение ему вредно, Магда решительно запрещала ему трогать ее, но иногда ему удавалось ее схватить, и тогда он ощупывал ее голову и тело, стараясь увидеть через осязание и все равно не видя ничего. Горн, который очень любил сидеть с ним в одной комнате, жадно следил за его движениями. Магда упиралась слепому в грудь, поднимала глаза к небу с комической резиныцей или показывала Кречмару язык, что было особенно, конечно, смешно по сравнению с выражением безысходной нежности на лице слепого. Магда ловким поворотом вырывалась и отходила к Горну, который сидел на подоконнике, босой, в белых штанах и по пояс голый, — ему нравилось жарить спину на солнце. Кречмар полулежал в кресле, одетый в пижаму и халат; его лицо обросло жестким курчавым волосом, и ярко розовел на виске шрам, — он походил на бородатого арестанта. “Магда, вернись”, — умоляюще говорил он, протягивая руку. “Тебе вредно, тебе вредно”, — равнодушно отвечала она, поглаживая Горна по его длинной и мохнатой спине. Кречмар не унимался, дергался, яростно потирал глаза. “Я хочу тебя”, — говорил он. — Гораздо вреднее, что вот уже два месяца мы не...” (тут следовал самодельный, так сказать, глагол, домашний, ласкательный, из их любовного лексикона). Горн подмигивал Магде. Она многозначительно улыбалась, стуча себя пальцем по лбу. Кречмар продолжал ее звать, словно тетерев на току. Порою Горн, либивший риск, подходил босиком на цыпочках и очень легко дотрагивался до него, — и Кречмар издавал мурлыкающий звук, хотел обнять мнимую Магду, но Горн, беззвучно отойдя, уже опять сидел на подоконнике и грел спину. “Мое счастье, умоляю”, — задыхался Кречмар и вставал с кресла и шел на нее, — Горн на подоконнике поджимал ноги. Магда сердилась, кричала на Кречмара, кричала, что тотчас уедет, бросит его, если он не будет слушаться, и он, с виноватой усмешечкой, пробирался обратно к своему креслу. “Ладно, ладно, — вздыхал он. — Почитай мне что-нибудь — газету, что ли”. Она опять поднимала глаза к небу.

Горн осторожно пересаживался на диван, брал Магду к себе на колени, она разворачивала газету и читала вслух, и Кречмар сокрушенно кивал, медленно поедая невидимые вишни, выплевывал в ладонь невидимые косточки. Картина получалась чрезвычайно мирная. Горн смешил Магду, вытягивая и опять вбирая губы в подражание ее манере читать, или делал вид, что сейчас уронит ее, и у нее срывался голос.

“Да, может быть, все это к лучшему, — думал Кречмар. — Наша любовь теперь строже, и тише, и одухотвореннее. Если она не бросает меня, значит действительно любит. Это хорошо, это хорошо”. И вдруг ни с того ни с сего начинал громко рыдать, рвал мрак руками, умолял, чтобы его повезли к другому профессору, к третьему, четвертому, только бы прозреть, все, что угодно, операцию, пытку, прозреть... Горн, позевывая, брал из вазы на столе пригоршню вишен и отправлялся в сад.

В первое время совместного житья он и Магда были очень осмотрительны, хотя позволяли себе всякие невинные шутки. Он ходил либо босиком, либо в войлочных туфлях. Перед дверью своей комнаты, в коридоре, он на всякий случай устроил баррикаду из ящиков и сундуков, через которую Магда по ночам перелезала. Кречмар, впрочем, после первого обхода дома перестал интересоваться расположением комнат, зато спальню и кабинет изучил досконально, Магда описала ему все краски там — синие обои, желтый абажур, — но, по наущению Горна, нарочно все цвета изменила: Горну казалось весело, что слепой будет представлять себе свой мирок в тех красках, которые он, Горн, продиктует. В своих комнатах у Кречмара было почти ощущение, что он видит мебель и предметы, и он чувствовал сохранность, безопасность. Когда же он изредка сиживал в саду, то кругом была неведомая бездна, ибо все было слишком велико, воздушно и многошумно, чтобы можно было описать.

Он старался научиться жить слухом, угадывать движения по звукам, и вскоре Горну стало затруднительно незаметно входить и выходить; как бы беззвучно ни открывалась дверь, Кречмар сразу поворачивался в ту сторону и спрашивал: “Это ты, Магда?” А затем сердился на нерасторопность своего слуха, когда Магда отвечала ему из другого угла. Проходили дни, и чем острее он напрягал слух, тем неосторожнее становились Горн и Магда, привыкая к невидимости своей любви. Вместо того чтобы, как прежде, обедать на кухне под обожающим взглядом старой Эмилии, Горн преспокойно садился с Магдой и Кречмаром за стол и ел с виртуозной беззвучностью, не прикасаясь металлом к фарфору и пользуясь нарочито громким разговором Магды, чтобы жевать и глотать. Однажды он поперхнулся, Кречмар, над которым наклонялась Магда, наливая ему в чашку кофе, вдруг услышал в конце



овального стола странный звук — как будто шумное человеческое придыхание. Магда поспешно затораторила, но он прервал ее: “Что это было? Что это было?” Горн меж тем взял свою тарелку и на цыпочках удалился; однако, проходя в полуоткрытую дверь, уронил вилку. “Что это такое? Кто там?” — повторил Кречмар. “Ах, это Эмилия. Чего ты волнуешься?” — “Но ведь она сюда никогда не входит...” — “А сегодня вошла”. — “Я думал, что у меня начинаются слуховые галлюцинации, — сказал Кречмар виновато. — Вчера, например, мне показалось, кто-то босиком шлепает по коридору”. “Так можно с ума сойти”, — сухо произнесла Магда.

Днем она уходила на часок гулять вместе с Горном. Шли на почтамт за газетами или поднимались к водопаду. Как-то они возвращались домой, поднимались уже по крутой тропинке, ведущей к шале, и Горн говорил: “Я советую тебе не приставать к нему с браком. Уверю тебя, тем самым, что он бросил жену, он причислил ее к лику святых и не даст в обиду. Гораздо проще и милее выйдет, если тебе удастся постепенно забрать в свои руки хотя бы половину его капитала”.

“Деньги, большие деньги”, — задумчиво сказала Магда.

“Да, это должно выгореть, — продолжал Горн. — С чеками у нас пока все выходит отлично. Он подписывает, как машина. Но не следует слишком злоупотреблять. Дай Бог, к зиме можно будет бросить его. Перед тем купим ему собаку — маленький знак внимания”.

“Тише ты, — сказала Магда. — Вот уже камень”.

Этот камень, большой серый камень, похожий на овцу и поросший с краю вьюном, отмечал тот предел, после которого опасно было громко разговаривать. Они пошли молча и через несколько минут уже подходили к саду. Магда вдруг засмеялась, указывая на белку. Горн швырнул в нее палкой, но не попал. “Они, говорят, страшно портят деревья”, — сказала Магда тихо. “Кто портит деревья?” — громко спросил голос Кречмара.

Он стоял среди кустов на каменных ступеньках, где тропинка переходила в садовую площадку. “Магда, с кем ты там говоришь?” — продолжал он и вдруг оступился и тяжело сел, выронив трость. “Как ты смеешь так далеко заходить?” — воскликнула она и грубовато помогла ему подняться; зернышки гравия впились ему в ладони, он топырил пальцы и отдувался. “Я старалась поймать белку, — объяснила Магда. — А ты что думал?” “Мне казалось... — начал Кречмар. — Кто тут?” — вдруг отрывисто крикнул он, повернувшись в сторону Горна, который осторожно шел по траве. “Никого нет, я одна, чего ты бесишься!” — забормотала Магда и, не выдержав, хлопнула Кречмара по руке. “Поведи меня домой, — сказал он чуть не плача. — Тут так шумно, деревья, ветер, белки. Я не знаю, что кругом происходит... Так шумно”.

“Я буду теперь запира́ть тебя”, — проговорила она, раздраженно его подталкивая.

Подошел вечер, обыкновенный вечер. Магда и Горн лежали рядышком на диване и курили, а в двух саженях от них Кречмар, неподвижный, как сова, сидел в кожаном кресле, уставившись на них неподвижными мутно-голубыми глазами. Магда, по его просьбе, рассказывала ему свое детство. Он рано пошел спать, долго поднимался по лестнице, стараясь установить подошвой и тростью индивидуальность каждой ступени. Среди ночи он проснулся, нащупал на голом циферблате дешевого будильника стрелки: была половина второго. Странное беспокойство. Что-то мешало ему в последнее время сосредоточить ум на тех важных, хороших мыслях, которые одни помогали бороться с ужасом слепоты. Он лежал и думал: “В чем же дело? Аннелиза? Нет, она далеко. Она на самой глубине его слепоты, милая, бледная, грустная тень, которую нельзя тревожить. Магдины запреты? И это не то. Ведь это временно. Ему действительно вредно. Да и следует научиться чисто и духовно относиться к Магде. Ей тоже, бедненькой, вероятно, нелегко отказывать... В чем же дело?”

Он сполз с постели и постоял у двери Магды. Она запиралась на ключ, и так как был только один выход в коридор, через ее комнату, то он был у себя заперт. “Какая она у меня умница”, — подумал он нежно и приложил ухо к двери, чтобы послушать, как она дышит во сне, но ничего не услышал. “Тихая, как мышка, — прошептал он. — Вот бы ее сейчас погладить по голове и сразу уйти”. Она могла забыть запереться. Без особой надежды он нажал. Нет, она не забыла.

Он вдруг вспомнил, как отроком в душную летнюю ночь, в чьей-то усадьбе на Рейне, он перелез в комнату к горничной (которая, впрочем, дала ему затрещину и выгнала вон) по карнизу, — но тогда он был легок, ловок и зряч. “А почему бы не попробовать? — подумал он с меланхолическим озорством. — Ну, разобьюсь. Не все ли равно?” Он нашел свою трость и, высунувшись в окно, повел ею по широкому карнизу, потом вбок и вверх, к соседнему окну. Чуть звякнуло стекло отворенной рамы. “Как она крепко спит, устает за день, возится со мной.” Втягивая обратно трость, он зацепил за что-то, трость выскользнула и с мягким стуком упала, закон притяжения, а в общем, можно предположить, что окно не на втором этаже, а на первом. Держась за подоконник, он перелез на карниз, нащупал рядом водосточную трубу, переступил через ее холодное железное колено и сразу ухватился за следующий подоконник. “Как просто!” — подумал он не без гордости. “Ку-ку, Магда”, — тихо сказал он, уже собираясь вползти в открытое окно. Он поскользнулся и чуть не упал в подразумеваемый сад. Сильно забилось сердце. Перевалив через подоконник, он толкнул что-то,

треск, бухнул на пол плотный предмет, вероятно, книга. Кречмар остановился. Капли пота щекотали лицо, к ладони пристало что-то липкое — древесный клей, выступающий от жары, дом — сосновый. “Магда, а Магда!” — сказал он улыбаясь. Тишина. Он нашел постель, она была девственно прикрыта чем-то кружевным.

Кречмар сел на постель и стал соображать. Если постель была бы открытая, то тогда понятно — животик заболел, она сейчас вернется. “Подождем все-таки”, — пробормотал он. Погодя он вышел в коридор и прислушался. Ему показалось, что где-то, очень далеко, раздается тихий ноющий звук — не то скрип, не то шорох. Ему стало почему-то страшно, он громко крикнул: “Магда, где ты?” Вопросительная тишина. Затем где-то стукнуло. “Магда, Магда!” — повторил он и двинулся по коридору. “Да-да, я здесь”, — раздался ее спокойный голос. “Что случилось, Магда? Почему ты до сих пор не легла?” Она столкнулась с ним — в коридоре было темно, и, на мгновение коснувшись ее, он почувствовал, что она голая. “Я лежала на солнце, — сказала она. — Как всегда по утрам”. “Сейчас ночь, — выговорил он с трудом. — я не понимаю, Магда. Тут что-то не то. Сейчас ночь. Я нащупал стрелки. Сейчас половина второго”. “Глупости. Сейчас шесть часов и чудное солнце. Будильник твой испорчен. Но позволь, как ты выбрался сюда?” “Магда, это правда, что утро? Это правда?” Она вдруг подошла к нему вплотную и обвила, как встарь, его шею. “Хотя и утро, — сказала она тихо, — но, если ты хочешь, Бруно, в виде большого исключения...”

Это был для нее трудный шаг, но единственный правильный. Кречмар не успел обратить внимания на сырость воздуха, на то, что птицы еще не поют. Было только одно — свирепое, восхитительное наслаждение, после которого он сразу уснул и спал до полудня, до настоящего полудня. Когда он проснулся, Магда выругала его за героический переход из окна в окно, еще пуще рассердилась, увидя его грустную улыбку, и ударила его по щеке.

Днем он сидел в гостиной и вспоминал, какое это было счастье утром, и гадал, через сколько дней оно повторится. Вдруг он явно услышал, как кто-то коротко откашлялся — это не могла быть Магда, — она была в саду. “Кто тут?” — спросил он. Никто не ответил. “Опять галлюцинации”, — тревожно подумал Кречмар и вдруг понял, что именно так его тревожило ночью, — да-да, вот эти странные звуки, которые он иногда слышит, шорох, дыхание, легкие шаги.

“Скажи, Магда, — обратился он к ней, когда она вернулась, — тут никого не бывает в доме, кроме Эмилии? Ты уверена?” “Дурак”, — заметила она лаконично.

Но однажды осознанная мысль уже больше не давала ему покоя. Он помрачнел, сидел весь день на одном месте прислушиваясь. Горна это забавляло чрезвычайно, и, несмотря на то, что Магда

умоляла его быть осторожным, он настолько мало стеснялся, что раз, например, сидя в двух саженях от Кречмара, очень искусно стал по-птичьему посвистывать, и Магда принуждена была Кречмару объяснить, что птичка села на подоконник и поет. “Прогони ее”, — хмуро сказал Кречмар. “Кыш, кыш”, — произнесла Магда, прикладывая ладони к выпученным губам Горна.

“Знаешь что? — через несколько дней сказал Кречмар, — мне бы хотелось как-нибудь покалякать с этой Эмилией”.

“Лишнее, — ответила Магда. — Она абсолютная дура и страшно боится тебя”.

Минуты две Кречмар о чем-то напряженно думал.

“Не может быть”, — проговорил он тихо и отдельно.

“Что, Бруно, не может быть?”

“Ах, пустые мысли, — ответил он угрюмо, — пустые мысли”.

“Вот что, Магда, — проговорил он минуту спустя, — я ужасно оброс, вели парикмахеру прийти из деревни”.

“Лишнее, — сказала Магда. — Тебе очень идет борода”.

Кречмару показалось, что кто-то, не Магда, а как бы около Магды, гнусаво усмехнулся.

## XXXVI

Макс принял его у себя в конторе. “Вряд ли вы помните меня, — сказал Зегелькранц. — Я встречал вас лет восемь тому назад у Бруно, у Кречмара. Скажите, ради Бога, он здесь? Вы что-нибудь знаете о нем?”

“Под Цюрихом, — ответил Макс. — Я случайно знаю, у нас с ним общий банк. Совершенно ослеп, больше мне ничего не известно”.

“Вот именно! — вскричал Зегелькранц. — Совершенно ослеп. В некотором смысле это случилось через меня. Мы в прежние годы были с ним так близки. Боже мой, мы сживали, бывало, часами в кабачках, — как он любил живопись, как пламенно! А теперь — представьте себе, столкнулись мы с ним на маленькой станции, я думал, что он путешествует один, мне в голову не пришло...”

“Простите, — сказал Макс. — Я не совсем понимаю вас. Вы что — виделись с ним непосредственно перед катастрофой?”

“Вот именно, вот именно. Но посудите сами, — как я мог угадать, как я мог думать, что он свою жену...”

“Если разрешите, — перебил Макс, — мы это оставим в стороне. Предпочитаю не говорить о том, как он поступил с моей сестрой. Судьба, конечно, достаточно его наказала. Мне жалко, мне очень жалко его. Когда мы прочли в газетах о том, как он расшибся, — ах, да что говорить. Не могу же я допустить, чтобы моя сестра теперь ехала к нему, поступала бы к нему в сиделки. Это ведь абсурд! Я не хочу, чтобы вы с ней говорили, — это абсурд. Только она успокоилась немного — сразу новый повод для волнения. Так что напрасно он послал вас ко мне — я не желаю вступать ни в какие переговоры, все это кончено, кончено”.

“Никто меня не посылал! — крикнул Зегелькранц. — Почему вы такой тон со мной берете? Странно, право. Вы ведь не знаете самого главного. С ним путешествовал его приятель, художник, фамилию в данную минуту забыл — Берг, нет не Берг, — Беринг, Геринг...”

“Не Горн ли?” — мрачно спросил Макс.

“Да-да, конечно, Горн! Вы его...?”

“...Знаменитость — пустил моду на морских свинок. Препротивный господин. Я его раза два видел. Но при чем это все?”

“Я же вижу, что вы не в курсе дела. Поймите: выяснилось, что эта женщина и этот художник, за спиною Бруно...”

“Мерзость. Свинарник”, — проговорил Макс.

“И вот представьте себе: Бруно это узнает. Я не стану вам говорить, как именно узнает, — слишком страшно, художественный донос, но факт тот, что он узнает, и дальше следует неописанное, неопишное, — он сажает ее в автомобиль и мчится сломя голову, мчится по зигзагам шоссе, сто верст в час, над обрывами, и нарочно метит в пропасть — самоубийство, двойное самоубийство... Но не удалось: она цела, он слеп. Вы теперь понимаете?...”

Пауза.

“Да, это для меня новость, — сказал наконец Макс. — Это для меня новость. А что случилось с тем прохвостом?”

“Неизвестно, но есть все основания думать, что он, подобно акуле, последовал и дальше за ними. И вот теперь вообразите: человек слеп, физически слеп, но этого мало, он знает, что кругом измена, а сделать ничего не может. Ведь это пытка, застенки! Надо что-нибудь предпринять, нельзя это так оставить”.

“Он проживает там огромные деньги, — задумчиво сказал Макс. — Вероятно, на какое-нибудь особенное лечение. Или же... — да, он совершенно беспомощен. Навестите его, узнайте, как он живет, — мало ли что может быть”.

“Я бы с удовольствием, — нервно сказал Зегелькранц, — но дело в том... Мое здоровье расшатано, мне страшно вредны такие вещи. Я и так поступил Бог знает как опрометчиво, покинув теплый юг. Я не представляю себе встречу с Бруно — пожалуйста, настаивайте, чтобы я ехал. Мне просто хотелось уведомить вас. Вы человек осмотрительный, осторожный — умоляю, поезжайте вы! Я вам оставляю мой адрес, вы мне напишите обо всем. Скажите, что поедете”.

“Придется, — хмуро ответил Макс. — Я только боюсь, что может быть, вы — как бы это сказать? — преувеличиваете немного или точнее...”

“Значит, поедете, — радостно перебил Зегелькранц. — Ах, как чудесно. Теперь я спокоен. Мне этот разговор был очень тяжел, поверьте. Вы не знаете, что я пережил за последнее время...”

Он ушел, очень довольный. Судьбой Кречмара он распорядился как нельзя лучше и вообще героической поездкой в Берлин искупил свою невольную вину. И кто знает, быть может, не сегодня, конечно, и не завтра, но когда-нибудь, когда-нибудь (скажем, через месяц) можно будет кое-что извлечь из всей этой истории, изобразить, скажем, вдохновенного, не от мира сего, писателя и его друга, тяжелого и простоватого человека, чтение на холму, близ журчащего источника, и так далее, и так далее. Чистые мысли, прекрасные мысли...

Макс же, вернувшись домой, с напускной веселостью предложил Аннелизе пройтись, был теплый солнечный вечер, на балконах

сидели мужчины в жилетах, в небе порой раздавалось жужжание аэроплана. “Мне, вероятно, придется на днях уехать, — сказал Макс. — По делу”. Она посмотрела точь-в-точь тем же взглядом, как некогда, когда он с Ирмой вернулся из Спорт-Паласа, и, вспомнив это, Макс отвел глаза. Они молча пошли до конца улицы. “Да, это нужно”, — вдруг произнесла Аннелиза. Макс откашлялся. Они молча вернулись по той же стороне улицы. На следующий день он выехал в Цюрих. Там он сел в автомобиль и через час с небольшим оказался в деревне, недалеко от которой жил Кречмар. Он остановился у почтамта, и служащая — очень словоохотливая девушка — объяснила, как доехать до шале, и добавила, что Кречмар живет с племянницей и доктором. Макс немедленно покати́л дальше. Он понимал, что это за племянница, но присутствие доктора его удивило, это доказывало, что Кречмар окружен некоторой заботой. “Может быть, я зря еду, — подумал Макс, — может быть, он вполне доволен. Нет, раз уж я тут... Поеду, поговорю с этим доктором... Несчастный, безвольный человек, погибшая жизнь, кто мог предвидеть...”

Магда в то утро вместе с Эмилией была в деревне по хозяйственным делам (надо было, например, хорошенько выругать прачку за розовые подтеки на белом джемпере). Автомобиль Макса она, однако, проглядела, но зато, зайдя на почтамт за газетами, узнала, что только что полный господин справлялся о Кречмаре и поехал к нему.

В это время в маленькой гостиной, освещенной солнцем через стеклянную дверь на веранду, сидели друг против друга Кречмар и Горн. Горн нарочно оставался теперь дома, так как желал сполна насладиться последними днями этого чрезвычайно забавного житья. Было решено через неделю уехать в Берлин, и уже там нельзя было рассчитывать на такое увеселение — слишком рискованно. Горн сидел на складном стульчике, совершенно голый. От ежедневных солнечных ванн в саду или на крыше (где он, нежно воя, изображал элову арфу), его худощавое, но сильное тело, с черной шерстью в форме распостертого орла на груди, было кофейно-желтого цвета. Ногти на ногах были грязны и зазубрены. Недавно он облил голову под краном на кухне, так что темные его волосы лежали плоско и лоснились. В красных выпученных губах он держал длинный стебелек травы и, скрестив мохнатые ноги и подперев подбородок рукой, на кисти которой горел Магдин браслет, он не спускал глаз с лица Кречмара, который тоже, казалось, пристально смотрит на него. На Кречмаре был широкий мышинового цвета халат, бородатое лицо выражало мучительное напряжение. Он прислушивался — последнее время он только и делал, что прислушивался, и Горн это знал и внимательно наблюдал отражение каких-то ужасных мыслей, пробежавших по лицу слепого, и при

этом испытывал восторг, ибо все это было изумительной карикатурой, высшим достижением карикатурного искусства. Затем Горн, желая еще обострить забаву, легонько шлепнул себя по колену, и Кречмар, который как раз поднимал руку к нахмуренному своему челу, замер с приподнятой рукой. Тогда, медленно подавшись вперед, Горн тронул это чело пушистым концом длинной былинки, которую только что сосал. Кречмар, странно и отрывисто вздохнув, отогнал невидимую муху. Горн пощекотал ему губы — снова отгоняющий жест. Это было весьма смешно. Вдруг слепой резко двинулся, насторожившись. Горн повернул голову и увидел через стеклянную дверь краснолицего толстяка, как будто знакомого, с автомобильными очками над бровями, остолбеневшего от изумления на каменной площадке веранды.

Горн, глядя на него, приложил палец к губам и хотел еще показать, что сейчас выйдет к нему, но тот рванул дверь и вступил в гостиную.

“Конечно, я вас знаю. Ваша фамилия Горн,” — сказал Макс, тяжело дыша и смотря в упор на этого голого человека, который ухмылялся и все прикладывал палец к губам, нисколько не стыдясь своей отвратительной наготы. Кречмар меж тем встал, розовая краска шрама словно разлилась по всему его лбу, он стал вдруг кричать, кричать совершенно бессмысленно, и только постепенно из этой мешанины грудных звуков стали образовываться слова. “Макс, я тут один, — кричал он. — Макс, скажи, что я один. Горн в Америке, Горна здесь нет, я умоляю. Я ведь совершенно слеп”. “Дурак”, — сказал Горн, махнув рукой, и побежал к двери, ведущей на лестницу. Макс схватил трость, лежавшую на полу около кресла, догнал Горна — Горн обернулся, выставив ладони, — и Макс, добрейший Макс, который в жизни своей не ударил живого существа, со всей силы треснул Горна палкой по голове около уха. Тот отскочил, продолжая усмехаться, — и вдруг произошла замечательная вещь: словно Адам после грехопадения, Горн, стоя у стены и осклабясь, пятерней прикрыл свою наготу. Макс кинулся на него снова, но голый увильнул и взбежал по лестнице. В это мгновение что-то навалилось сзади на Макса. Это был Кречмар — он кричал, он держал в руке мраморное пресс-папье. “Макс, — захлебывался он, — Макс! Я все понимаю, дай мне пальто, дай скорее пальто, оно тут в шкапу!” “Желтое?” — спросил Макс, борясь с одышкой. Кречмар сразу нащупал в кармане то, что ему было нужно, и перестал кричать.

“Я немедленно везу тебя прочь отсюда, — сказал Макс. — Снимай халат и надевай пальто. Оставь это пресс-папье. Дай, я тебе помогу... Это чудовищно, что они тут делали с тобой. Вот... Бери мою шляпу, — ничего, что ты в ночных туфлях. Пойдем, пойдем,



Бруно, у меня там, внизу, автомобиль — главное, скорее убраться из этого застенка!”

“Нет, — сказал Кречмар. — Нет. Я сперва должен с ней поговорить — она должна подойти ко мне вплотную, вплотную. Сейчас вернется, подождем ее. Я хочу, Макс. Это продлится одну минуту”.

Но Макс вытолкнул его на веранду, затем в сад и, увидя оттуда на дороге свой автомобиль, заорал и замахал, призывая шофера. “Только чтобы она подошла ко мне, — повторял Кречмар, — совсем близко. Ради Бога, она уже здесь? Может быть, она уже вернулась? Может быть, она идет рядом?”

“Нет, Бруно, успокойся. Идем, пожалуйста. Никого нет, только этот голый смотрит из окна. Пойдем, милый, пойдем”.

“Я пойду, — сказал Кречмар. — Но только ты скажи мне, если ее увидишь, мы ее можем встретить. Тогда не мешай ей, пускай она ко мне приблизит, прибли, бли, приблизитблизя...”

Они стали спускаться по тропинке, но через несколько шагов Кречмар вдруг повалился в глубоком обмороке. Макс едва успел его поддержать. Подоспел запыхавшийся шофер. Он и Макс понесли Кречмара в автомобиль. В это время подъехала таратайка, из нее выскочила Магда. Она подбежала, крикнула что-то, но автомобиль попятился, чуть ее не задавил и сразу ринулся вперед и скрылся за поворотом.

## XXXVII

Аннелиза получила телеграмму из Цюриха во вторник, а в среду, около восьми часов вечера, услышала в прихожей голос Макса, стук чемодана о косяк, шаги, движение. Дверь открылась, Макс ввел Кречмара. Он был чисто выбрит, в темно-синих очках, на бледном лбу был шрам, незнакомый чисто-лиловый костюм казался слишком просторным. “Привез”, — спокойно сказал Макс, и Аннелиза заплакала, прижимая платок ко рту. Кречмар безмолвно поклонился по направлению невнятного плача. “Пойдем помыть руки”, — сказал Макс, медленно ведя его через комнату.

Потом сидели втроем в столовой, ужинали. Аннелиза все не могла привыкнуть смотреть на мужа. Ей казалось, что он все-таки чувствует ее взгляд. Печальная торжественность его движений, манера ощупывать воздух доводили ее до какого-то тихого иступления жалости. Макс говорил с Кречмаром как с ребенком и деловито резал ему ветчину.

Его поместили в бывшую комнату Ирмы — Аннелиза сама удивилась, как легко ей было, ради этого нечаянного жильца, нарушить сон комнатки, все в ней изменить, переставить, приноровить ее к удобствам слепца.

Кречмар молчал. Правда, сначала, то есть еще в Цюрихе, проездом в Берлин, он не переставая, с тяжелой, бредовой настойчивостью упрашивал Макса вызвать Магду на минутное свидание — он клялся, что эта последняя встреча продлится не более минуты; действительно, долго ли нужно, чтобы в привычной темноте нащупать и, крепко схватив одной рукой, сразу ткнуть стволом браунинга в грудь или в бок и выстрелить — раз, еще раз, до семи раз. Макс упорно отказывался его просьбу уважить — и тогда-то он замолчал, молча ехали до Берлина, молча прибыл и затем промолчал три дня... Аннелиза так и не услышала его голоса — словно бы он не только ослеп, но и онемел.

Черная увесистая вещь, сокровищница смерти, лежала в глубоком кармане пальто, завернутая в шелковистое кашне. Запершись в уборной вагона, он переместил браунинг в задний карман штанов, а затем, когда приехал, — в свой чемодан и ключ от чемодана ночью держал в кулаке, но к утру, во время какой-то сложной и смутной погони, потерял его и, проснувшись, долго его искал, шарил в беспросветной тьме постели, и, найдя его наконец, отпер

чемодан и снова переложил браунинг в карман штанов, так, чтобы он оставался всегда, всегда при нем.

И он продолжал молчать. Присутствие Аннелизы в доме, ее шаги, ее шепот (она почему-то говорила с прислугой и с Максом шепотом) были в конце концов столь же условны и призрачны, как его воспоминания о ней. Да, шелестящее, слабо пахнущее одеколоном воспоминание, больше ничего. Подлинная жизнь, та хитрая, увертливая, мускулистая, как змея, жизнь, жизнь, которую следовало пресечь немедленно, находилась где-то в другом месте, где? Неизвестно. С необычайной ясностью он представлял себе, как после его отъезда она и Горн — оба гибкие, проворные, со страшными лучистыми глазами навывате — собирают вещи, как Магда целует Горна, трепеща жалом, извиваясь среди открытых сундуков, как наконец они уезжают — но куда, куда? Миллион городов и сплошной мрак.

Прошло три немых дня. На четвертый, рано утром, так случилось, что он остался без надзора: Макс только что уехал на службу, Аннелиза, не спавшая всю ночь, еще не выходила из своей спальни. Кречмар в мучительной жажде немедленного действия пошел ходить по квартире, ощупывая мебель и косяки. Уже некоторое время звонил в кабинете телефон, и это напоминало о том, что в Берлине есть издательства, к которым тот, невидимый, был причастен, общие знакомые, возможность что-нибудь узнать, — но Кречмар не мог припомнить ни одного телефонного номера, все было где-то записано, ничего не хранилось в голове. Звон напряженно раздувался и спадал опять. Кречмар снял незримую трубку и приложил ее к уху. Смутно знакомый мужской голос спрашивал господина Гогенварта, то есть Макса. “Нет дома”, — ответил Кречмар. “Ах, вот как”, — замылся голос и вдруг бодро сказал: “Это вы, господин Кречмар?” — “Да, да, а вы кто?” “Шиффермюллер. Я вот по какому поводу. Я только что звонил в контору к господину Гогенварту, но его еще не было. Я думал, что успею застать его дома. Как удачно, что вы тут, господин Кречмар. Вероятно, все в порядке, но как-никак, я почел своим долгом... Дело в том, что сейчас заехала сюда фрейлейн Петерс за своими вещами. Я ее пустил в вашу квартиру, но я не знаю... может быть, какие-нибудь распоряжения...” “Все в порядке”, — сказал Кречмар, с трудом двигая одеревеневшими, как от кокаина, губами. “Что вы говорите?” “Все в порядке”, — повторил Кречмар. “Я не слышу, простите?” “Все в порядке”, — повторил Кречмар чуть яснее и дрожа повесил трубку.

Каким-то чудом ничего не задев, он пробрался в переднюю, хотел было отыскать трость и шляпу, но это выходило слишком долго, слишком сложно. Поспешно поглаживая края ступеней подошвами и скользя ладонью по перилам, неловко подгибая колени

на площадках и повторяя “в порядке, в порядке”, — Кречмар спустился и вот оказался на улице. Мелкое, мокрое сразу закололо его в лоб. Он двинулся, потрагивая склизкое железо палисадника и прислушиваясь, не проезжает ли таксомотор. Вот — неторопливый и влажный шелест шин. Кречмар отрывисто крикнул. Шелест бесстрастно удалился. “Ах, надо скорее”, — пробормотал он.

“Хотите, я помогу вам перейти?” — предложил приятный женский голос у самого плеча. “Ради Бога, автомобиль”, — сказал Кречмар.

Звук мотора, шелест. Кто-то помог ему влезть. Кто-то захлопнул дверцу. “Прямо, прямо,” — тихо произнес Кречмар, а когда уже автомобиль тронулся, он подался вперед, наткнулся пальцем на стекло, постучал, сообщил адрес.

Будем считать повороты. Первый — это, вероятно, Моцштрассе. Слева заскрежетал и звякнул трамвай. Кречмар вдруг повел рукой вокруг себя, ощупал сиденье, переднюю стенку, пол, пораженный мыслью, что, быть может, кто-нибудь сел вместе с ним. Опять поворот — это, должно быть, Виктория-Луиза-Плац. Или Прагер-Плац? Сейчас будет Кайзер Аллее. Остановились. Неужели приехали? Не может быть, просто перекресток. Еще по крайней мере пять минут езды до... Но дверца открылась. “Пожалуйста, — сказал голос шофера. — Пятьдесят шестой номер”.

Кречмар вышел на панель. Перед ним в воздухе, радостно приближаясь, появилось полное издание того голоса, который только что звучал в телефоне. Шиффермюллер, швейцар дома, сказал: “Как неожиданно, как приятно, господин Кречмар. Фрейлейн Петерс у вас наверху, она...” “Тише, тише, — пробормотал Кречмар. — Заплатите тут. У меня с глазами...” Он наткнулся коленом на что-то звонкое и как будто валкое — детский велосипед, может быть. “Да впустите же меня в дом, — сказал он. — Дайте мне ключ от моей квартиры. Скорее же. Теперь введите меня в лифт. Скорее же. Нет, нет, оставайтесь внизу. Я один поднимусь. Я сам нажму кнопку...”

Лифт мягко застонал, голова слегка закружилась, потом ударило под пятки, доехал.

Он вышел, шагнул, но, не совсем рассчитав направление, сошел одной ногой в бездну, нет, не в бездну, а просто вниз, на следующую ступеньку лестницы, и невольно сел. “Правее, гораздо правее”, — прошептал он и, вытянув руку, добрался до двери. Стараюсь не слишком царапать и звякать, он нашел скважину, сунул в нее ключ, повернул, знакомая песня отворяющейся двери.

Слева, слева, да — в небольшой угловой гостиной — проворно шуршала бумага, затем что-то легко, легко хрустнуло, как будто суставы приседающего на корточки человека. “Вы сейчас мне будете нужны, господин Шиффермюллер, — сказал Магдин голос. — Вы

должны будете мне помочь все это...” Голос осекся. “Увидела”, — подумал Кречмар и вынул из кармана пистолет. Слева, в комнате, глухо щелкнуло, Магда крикнула и певуче продолжала: “...все это снести вниз. Или лучше позовите...” Тут голос ее как бы обернулся на слове “позовите”, и последовала тишина.

Кречмар, держа в правой руке браунинг, нащупал левой косяк открытой двери, вошел, захлопнул дверь за собой и спиной прислонился к ней.

Тишина продолжалась. Он знал, что он с Магдой один в этой комнате, откуда только один выход — тот, который он заслонял. Комнату он словно видел воочию: слева — полосатый диванчик, у правой стены — столик, и на нем фарфоровая балерина, в углу у окна — шкафчик с драгоценными миниатюрами, посередине — другой стол, побольше, и два полосатых стула.

Выпрямив руку, он стал поводить браунингом перед собой, стараясь вынудить какой-нибудь уяснительный звук. Чутьем, впрочем, он знал, что Магда где-то около горки с миниатюрами, — оттуда шло как бы легчайшее ядовито-душистое тепло, и что-то дрожало там, как дрожит воздух в зной. Он начал суживать дугу, по которой водил стволом, и вдруг раздался тихий скрип. Выстрелить? Нет, еще рано. Нужно подойти ближе. Он ударился о стол и остановился. Ядовитое тепло куда-то передвинулось, но звука перехода он не уловил за громом и треском собственных шагов. Да, теперь оно было левее, у самого окна. Запереть за собой дверь, тогда будет свободнее. Ключа не оказалось. Тогда он взялся за край стола и, отступая, потянул его к двери. Опять тепло передвинулось, сузилось, уменьшилось. Он заставил дверь и стал опять водить перед собой браунингом и опять нашел во мраке живую дрожашую точку. Тогда он тихо двинулся вперед, стараясь не скрипеть, чтобы не мешать слуху. Он наткнулся на твердое и, не опуская браунинга, исследовал препятствие. Небольшой сундук. Он отодвинул его к дивану и опять пошел по диагонали комнаты, загоня невидимую добычу в угол. Его слух и осязание были так обострены, что теперь он отлично чувял ее. Это был не звук дыхания, и не биение сердца, а некое сборное впечатление, звучание самой жизни, которое сейчас, вот сейчас, будет прекращено, и тогда наступит покой, ясность, освобождение от тьмы... Но он почувствовал внезапно какое-то облегчение в том углу — повел пистолетом в сторону, и угол опять наполнился теплым присутствием. Затем оно как бы стало понижаться, это присутствие, оно опускалось, опускалось, вот поползло, вот стелется по полу. Кречмар не выдержал и нажал собачку. Выстрел словно лягнул тьму, и тотчас после этого что-то взвилось и ударило его — сразу в голову, в плечо, в грудь. Он упал, запутавшись — в чем? — в стуле, в летающем стуле. Падая, он выронил браунинг, мгновенно нащупал его, но одновременно почувствовал

быстрое дыхание, холодная проворная рука пыталась выхватить то, что он сам хватал. Кречмар вцепился в живое, в шелковое, и вдруг — невероятный крик, как от щекотки, но хуже, и сразу: звон в ушах и нестерпимый толчок в бок, как это больно, нужно посидеть минутку совершенно смирно, посидеть, потом потихоньку пойти по песку к синей волне, к синей, нет, к сине-красной в золотистых прожилках волне, как хорошо видеть краски, льются они, льются, наполняют рот, ох, как мягко, как душно, нельзя больше вытерпеть, она меня убила, какие у нее выпуклые глаза, базедова болезнь, надо все-таки встать, идти, я же все вижу, — что такое слепота? отчего я раньше не знал... но слишком душно булькает, не надо булькать, еще раз, еще, перевалить, нет, не могу...

Он сидел на полу, опустив голову, и потом вяло наклонился вперед и криво упал на бок.

Тишина. Дверь широко открыта в прихожую. Стол отодвинут, стул валяется рядом с мертвым телом человека в бледно-лиловом костюме. Браунинга не видно, он под ним. На столике, где некогда, во дни Аннелизы, белела фарфоровая балерина (перешедшая затем в другую комнату), лежит вывернутая дамская перчатка. Около полосатого дивана стоит щегольской сундучок с цветной наклейкой: Сольфи, Отель Адриатик. Дверь из прихожей на лестницу тоже осталась открытой.

## Оглавление

I .....	1
II .....	4
III .....	9
IV .....	18
V .....	22
VI .....	28
VII .....	31
VIII .....	36
IX .....	39
X .....	45
XI .....	48
XII .....	50
XIII .....	52
XIV .....	55
XV .....	58
XVI .....	62
XVII .....	65
XVIII .....	71
XIX .....	77
XX .....	81
XXI .....	83
XXII .....	86
XXIII .....	89
XXIV .....	91
XXV .....	94
XXVI .....	97

XXVII . . . . .	100
XXVIII . . . . .	106
XXIX . . . . .	110
XXX . . . . .	113
XXXI . . . . .	114
XXXII . . . . .	117
XXXIII . . . . .	119
XXXIV . . . . .	122
XXXV . . . . .	124
XXXVI . . . . .	131
XXXVII . . . . .	136